
МЕРА ВРЕМЕНИ
ВИОЛЕНСИА — СМЕРТЬ ИЗ-ЗА УГЛА
Футбольная успеваемость
ЧАРЛИ ЧАПЛИН О СЕБЕ
ОГОНЁК
№ 50 ДЕКАБРЬ 1964
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

42-й год издания

№ 50 (1955)

6 ДЕКАБРЯ 1964

Лауреаты Нобелевской премии Н. Г. Басов и А. М. Прохоров.

Фото Л. Шерстенникова.



Торжественно отметил Таджикистан свое сорокалетие. На снимке: столица республики Душанбе. Площадь В. И. Ленина.

Фото Т. Мельника.

Сафар МАКИТОВ

* * *

Широкие реки России,
Вы медленно, тихо течете,
Спокойно в моря голубые
Через степи воды несете.

Как много меж вами красивых!
Но сердцем влюблен я навеки
В кипенье потоков бурливых,
В гремящие горные реки.

Я тоже воспитан горами,
Те реки — мне близкие сестры.
Стремительность их, темперамент
В себе ощущаю я остро.

Но счастье — уверен я ныне —
Лишь там, где сольется в веселье
Река, что течет по равнине,
С рекой, что грохочет в ущелье.

Перевел с балкарского
Н. КОРЖАВИН.

Алнага КЮРЧАЙЛЫ

* * *

Раскройте двери на рассвете —
Пусть солнце дом наш озарит,
Пусть озорует в доме ветер —
Нас озорство не разорит.

Пусть в стекла бьет,
Срывает шторы,
Пусть не стыдится разбросать
Стихотворения, которых
Потом уже не дописать.

Пусть принесет снежинок стаю,
Пусть куролесит допоздна.
Я не обижусь,
Я-то знаю:
Идет не осень, а весна!

Перевел с азербайджанского
Владимир КАФАРОВ.

Алдын-оол ДАРЖАА

* * *

Из-за хребта взошла луна,
Туман в ущельях густ и сер...
Не здесь ли встретиться должна
Луна с созвездием Угер?

И я, взглянув через хребты,
Увидел дальние огни.
Они зовут из темноты,
Тревожат сердце мне они.

Пусть, как угрюмая душа,
Густеет сумрачная мгла —
Зовут меня, теплом дыша,
Огни колхозного села.

Перевела с тувинского
Т. СИКОРСКАЯ.



Фото А. Устинова и А. Ляпина.

ДРУЖБА ВЕЧНАЯ, НЕРУШИМАЯ

По приглашению ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства в нашу страну с официальным дружеским визитом прибыла партийно-государственная делегация Чехословацкой Социалистической Республики. Делегацию возглавляет Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, Президент ЧССР Антонин Новотный.

Москва сердечно встретила посланцев братской страны.

Партийно-государственная делегация Чехословакии во главе с А. Новотным нанесла визиты Первому секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу и Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину.

Н а с н и м к е в в е р х у: Встреча партийно-государственной делегации Чехословацкой Социалистической Республики на Внуковском аэродроме.

Прага. Утро. Фото Ю. Кривоносова.



ГАЗ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АБХАЗИИ

В Абхазии, в районе села Леселидзе, забил газовый фонтан с предварительным дебитом в 12 тысяч кубометров.

Газ на курортном побережье! Трудно переоценить значение этой счастливой находки. Ближайший сосед газовой скважины, детский санаторий, уже запасся трубами и отводит к себе голубой огонь.

А бурение продолжается. Ведь скважина заложена вовсе не на газ. Геологи ищут на побережье термальную воду типа Мацеста. Впрочем, что значит — ищут? Вода есть. В Гагре на этой воде уже работает один санаторий. Сейчас гидрогеологическая партия под руководством Д. Дженелидзе проводит широкую разведку. Ценители абхазского приморья желают геологам счастливых поисков!

И. МЕСХИ

ЛЕСНОЙ ЧАРОДЕЙ

Григорий Назарович все дальше уходит в лес. Он присматривается: нет ли где свежих порубок? Не развел ли кто в бору костер? Не появились ли листовертка или сосновый шелкопряд? В прошлом году было уже такое. Шел Тарасюк по тропе и увидел, как за дорогой молодые сосны будто полиняли. Сомнений не было—шелкопряд. Тарасюк поспешил в лесничество и по пути завернул в школу. На другой день, когда вместе с деревенскими ребятишками он обмазывал зараженные места керосином, прилетели аэропланы, опылили участок сероватым порошком. Лес был спасен.

Григорию Назаровичу известна история каждого дерева, каждого кустика.

Статинниковская дача, как называют это место в Острожском лесхоззаге, еще совсем недавно была пустынной, лишь чернели пни да кое-где рос кустарник. На пахотные земли, на древний Острог двинулись пески.

— Без леса нам не обойтись,— сказал как-то Тарасюк.— Сажать надо.

— Зряшная затея,— возражали ему.

Григорий Назарович стоял на своем. Неподалеку от дома завел питомник. Вместе с женой Анной Яковлевной он бережно высаживал в песчаный грунт маленькие деревца, поливал их, оберегал, чтобы никто не поломал. Чего только не было в этом своеобразном саду: и дубы, и клены, и сосны, и ели, и лиственницы, и березы. Сперва робко, а затем все смелее и решительнее начал выращивать на сухой песчаной почве амурский бархат, грецкий орех, кустистый бересклет... К Тарасюку потянулись такие же, как и он сам, любители леса. Вместе с ними очищал вырубки, корчевал пни и холил молодую поросль.

Шли годы. Сейчас на 320 гектарах раскинулся густой лес. На постоянное жительство переселились сюда птицы и звери. В роще любят отдыхать не только острожцы, сюда приезжают из ближайших городов и селений Ровенской области.

А работа в лесу продолжается. Вместе с деревенскими ребятами Тарасюк расставил кормушки для белок, по деревьям развесил скворечники и синичники. У речушек отвел и оборудовал специальные места для купания. Родники обсадил кустарником, соорудил беседки и скамейки для отдыха. А у въездов построил арки, установил шлагбаумы.

Н. ЛОХМАТОВ

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

ОДНА ЦИФРА В НЕСКОЛЬКИХ АСПЕКТАХ

Цифра — вот она: 3,3 миллиона. Столько студентов учится в наших вузах.

Биография этой цифры такая: перед войной, в 1940/41 учебном году, студентов было 812 тысяч, в 1952/53 году — 1,4 миллиона, в 1958/59 году — 2,2 миллиона, в 1962/63 году — 2,9 миллиона.

Пользуется ли эта цифра авторитетом у зарубежных коллег? Да. И вот почему.

Численность населения Англии, Франции, ФРГ и Италии, вместе взятых, на 20 миллионов меньше численности населения СССР, а студентов в нашей стране в четыре раза больше, чем во всех этих четырех странах. Во Франции или в Англии их почти вдвое меньше, чем первокурсников в вузах Российской Федерации.

На каждые 10 тысяч населения у нас приходится 144 студента, в США—119, в Японии—67, во Франции — 50, в Англии — 45, в Италии — 39, в ФРГ — 40.

География этой цифры тоже интересная.

Из 741 вуза, имевшегося в прошлом учебном году, 426 находилось в РСФСР, 133 — на Украине, 32 — в Казахстане, 29 — в Узбекистане, 25 — в Белоруссии, 18 — в Грузии и т. д.

За десять лет (с 1952/53 по 1962/63) число студентов в каждой республике выросло вдвое, а в Казахстане и Узбекистане— в 2,6—2,7 раза.

По данным за прошлый учебный год, на десять тысяч жителей в Грузии приходилось 152 студента, в Узбекистане — 133, в Армении — 129, в Латвии — 125, на Украине — 117, в Киргизии — 97.

У наших южных соседей в 1960/61 году имелось на 10 тысяч населения: в Турции — 22, Пакистане —15, Иране —10 студентов.

За цифрой 3,3 миллиона — много профессий. Чуть ли не каждый год появляются новые. Число студентов на факультетах электромашиностроения и электроприборостроения за 10 лет выросло более чем в восемь раз, радиотехников и связистов — в пять раз. В три — три с половиной раза увеличилось число машиностроителей, строителей, транспортников, экономистов.

В прошлом году было выпущено 125 тысяч инженеров — в три раза больше, чем в США.

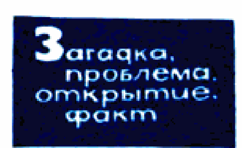
Сто сорок рейсов



Первые дни работает новый автовокзал в Одессе. Крытые перроны могут сразу принять 12 автобусов. Они отправляются отсюда в Киев, Николаев, Херсон, Симферополь, Кишинев, Винницу, Житомир. 140 рейсов в сутки. За это время вокзал должен принять 5—6 тысяч человек. Пассажирам здесь приятно: просторные залы ожидания с удобной мебелью, ресторан, бар, гостиница.

Трехэтажное здание автовокзала легкое, красивое — 1 200 квадратных метров стекла пошло на его строительство.

Фото Г. Овчаренко.



КИБЕР–ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В Куйбышевском политехническом институте создана машина «ОЭМ-2». Она не только экзаменует и ставит оценки, но и обучает сопромату, слесарному делу, правилам уличного движения, агрономии...

«ОЭМ-2» умещается в небольшом металлическом ящике с экраном и кнопочным пультом.

Вы нажимаете пусковую кнопку, и на экране возникают кадры диафильма — текст, который нужно усвоить.

Машина заботится о том, чтобы материал был правильно понят, вслед за текстом возникают вопросы и затем несколько ответов на выбор: какой правильный? Если вы ошиблись и указали неточный ответ, на машине появляются наводящие вопросы, дополнительные чертежи, схемы или поясняющий текст.

Если вы снова ошиблись или не можете взять в толк, что происходит на экране, вы нажимаете кнопку «помощь», и машина делает попытку объяснить вам предмет по-другому.

Когда программа усвоена, «ОЭМ-2» превращается в строгого экзаменатора, точно учитывает трудность вопроса, качество ответа. В итоге — оценка по четырехбалльной системе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ САДОВНИК

На выставке в Базеле (Швейцария) был показан робот, который срезает на деревьях ветки. Устройство прикрепляется к дереву у самого основания. Нажимается кнопка, и электронный садовник медленно поднимается по стволу вверх, срезая со всех сторон ветки и сучья. Выполнив работу до заранее заданной высоты, машина спускается по стволу сама.

ОЗЕРО ИЗ АСФАЛЬТА

На острове Тринидад находится самое удивительное на свете озеро. Оно наполнено не водой, а расплавленным асфальтом. Недавно на этом озере были произведены промеры глубин, но дна так и не достигли.

МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК

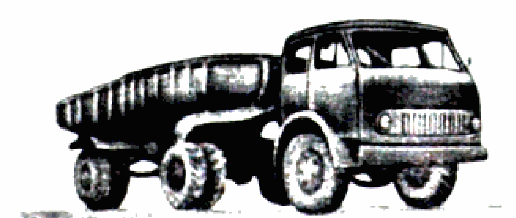
Чехословацкая фабрика автомобилей имени Димитрова в Летнянах стала производить шарикоподшипники из необычного материала — металлопластика. Шарикоподшипникам теперь будут не нужны ни починка, ни смазка. Они долговечнее и намного дешевле металлических.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГИБРИД

Минский автомобильный завод начал выпуск новинки — автоприцепа «МАЗ-5232». У «новорожденного» всего одна ось, ребристый кузов, похожий на ковш, емкостью 9 кубометров. Особенность прицепа в том, что он является самосвалом.

Шофер тягача, приехав на склад или на стройку, может легко опрокинуть содержимое прицепа простым включением специального устройства.

«МАЗ-5232» очень удобен для перевозки песка, щебня и других сыпучих материалов. Его грузоподъемность — 12,5 тонны.



ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА

Сало ФЛОР,
международный гроссмейстер

Золотой Кубок ФИДЕ был учрежден английским шахматным деятелем Гамильтоном-Расселом для команды — победительницы шахматной олимпиады. В 1927 году этот Кубок был впервые разыгран в Лондоне, в 1928 году — в Гааге и оба раза попал в Будапешт. В 1930 году на олимпиаде в Гамбурге победила команда польских шахматистов, а на следующих четырех олимпиадах (Прага — 1931, Фолкстон — 1933, Варшава — 1935, Стокгольм — 1937) побеждали американцы, и Кубок уезжал за океан.

Американские шахматисты утверждали, что они непобедимы, но начиная с 1952 года в олимпиадах начала участвовать сборная СССР, и сразу же кончилась сладкая жизнь для американских шахматистов. С тех пор они забыли, как выглядит Золотой Кубок Гамильтона-Рассела. С того времени каждые два года Кубок совершает «туристскую поездку» из Москвы на новую олимпиаду и вновь возвращается в витрину трофеев Центрального шахматного клуба СССР.

В Амстердаме — 1954, Москве — 1956, Мюнхене — 1958, Лейпциге — 1960, Варне — 1962 побеждала сборная СССР.

Запомнилась олимпиада в Лейпциге. Там было рекордное количество участвующих команд — 40. Шахматисты СССР выиграли все матчи, проиграв всего лишь одну партию. М. Таль в последнем туре сдался чемпиону Англии Д. Пенроузу.

Так же, как Токио побил рекорды прошлых Олимпийских игр, так Тель-Авив побил рекорды Лейпцига: в Израиль приехало 50 команд! Следует отметить, что местные авиакомпании представили пятидесятипроцентную скидку шахматистам. Это дало возможность участвовать в олимпиаде командам из таких отдаленных стран, как Австралия.

Многие бюро путешествий широко рекламировали роскошный климат Тель-Авива. Но гостям вскоре пришлось запасаться плащами: пошел такой дождь, какого местные жители и не запомнят. Словом, типичная шахматная погода. Сиди в отеле «Шератон» и играй в шахматы!

Чтобы наблюдать ход олимпиады, зрители вовсе не обязаны были присутствовать в зале. Расположившись у телевизионных экранов в том же отеле, они могли видеть всю шахматную площадку, весь шахматный табор. Преимущество этих заочных зрителей было в том, что над ними не висела табличка «Соблюдайте тишину!» и они могли темпераментно, во всеуслышание обсуждать все шансы. По рассказам очевидцев, шум там стоял такой, как на бирже в Нью-Йорке.

Спортивные страсти эти можно понять: ведь в Тель-Авив съехались лучшие шахматисты мира. Одна команда СССР чего стоит! Тигран Петросян, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Пауль Керес, Леонид Штейн, Борис Спасский. Единственная трудность при комплектовании нашей команды состояла в том, что за ее бортом оставалось много достойных шахматистов.

В спортивном отношении тель-авивская олимпиада ничем не отличалась от предыдущих. Судьба первого места оказалась предрешенной. Что же делать? Мне кажется, что для оживления борьбы за первое место можно было бы создать в т о р у ю команду СССР! Несомненно, что команда, в составе которой выступали бы М. Таль, Д. Бронштейн, Е. Геллер, В. Корчной, Л. Полугаевский, М. Тайманов, могла бы соперничать с победителями Тель-Авива!

Удивил всех слабый состав команды США. Снова блеснул своим отсутствием юный Роберт Фишер. Он в этом году развивал большую активность, но, увы, не за доской. Фишер делал разные заявления, составлял шахматную иерархическую лестницу, делал вызовы, требовал и угрожал. Фишер не занимался лишь одним — он не играл в шахматы! Почему? Может быть, суеверный чемпион не хотел рисковать в високосный год? Разгром американских шахматистов от сборной СССР с сухим счетом 0 : 4 не принес славу ни тем, которые были в Тель-Авиве, ни тем, которые по каким-то соображениям отказались защищать спортивную честь своей страны.

Несмотря на убедительную победу нашей блестящей шестерки, все же у многих любителей шахмат есть вопросы к нашей команде. Почему команда не выиграла все матчи? Более того, почему не смогла победить Югославию, Польшу и особенно почему мы проиграли 1:3 ФРГ — команде, у которой в прошлом выигрывали десятки раз?

Во всех прошедших олимпиадах сборная СССР только один раз проиграла матч: в Москве в 1956 году — Венгрии (1,5 : 2,5). Поражение в одном матче в Тель-Авиве — неприятное пятнышко в таблице, но оно, конечно, не может испортить нам радость очередной победы. Все бывает. У Л. Яшина и В. Брумеля тоже бывают плохие дни. Самый крупный певец тоже не застрахован от петуха.

Т. Петросян и Б. Спасский прошли тель-авивское сражение без единой царапины. М. Ботвинник, В. Смыслов, П. Керес (единственный гроссмейстер, участвующий во всех олимпиадах!) и Л. Штейн потерпели по одному поражению.

Если сборную СССР по праву называют золотой командой, то команду Югославии следует назвать серебряной. Не впервые сильный гроссмейстерский коллектив Югославии занимает второе место за СССР.

Итак, Золотой Кубок командного чемпиона мира уже в седьмой раз в руках советских гроссмейстеров. Похоже на то, что этот Кубок перестал быть переходящим, он постоянно прописан по адресу: Гоголевский бульвар, 14.



Раздумья рабочего человека

МЕРА ВР

Зинаида КОРЯГИНА

Бывают дни в жизни, когда твое личное, домашнее как бы отступает перед событиями, происходящими в цехе, на фабрике, в стране. В такие дни людей особенно тесно объединяет общий интерес к этим событиям, желание поделиться своими мыслями, высказаться вслух, желание все обговорить на миру. И если ты, коммунистка, в чем-то раньше других разобралась, то хочется помочь разобраться в происходящем и всем твоим подругам по цеху, по смене. Как раз такие дни мы, капрановцы, как и все советские люди, переживаем сейчас. Голос рабочего человека, голос коммунистов сегодня, как никогда, весом — мы решительно поддерживаем постановления октябрьского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС, поддерживаем развернувшуюся борьбу партии за ленинские нормы во всей нашей общественной жизни.

Наша фабрика имени Капранова — головное предприятие фирмы «Восток». Мы выпускаем детскую обувь. Наша продукция играет довольно заметную роль в жизни населения. Все это налагает на нас особую ответственность за качество выпускаемой обуви. Едешь домой, ну и разговариваешь с подругами о делах потока, цеха, а люди в троллейбусе невольно прислушиваются к нам: ведь речь идет о детской обуви, о новых моделях, о красоте. Мы-то не замечаем, что разговор горячий получается, хотя давно смена кончилась и фабричная проходная далеко позади, а впереди дом и домашние заботы. Но пассажиры, покупатели нашей продукции, очень всем интересуются. И часто случается так, что ты и не знаешь человека, а он спрашивает тебя неделей позже, в том же троллейбусе: «Ну, как вы там решили вопрос, получше будете теперь гусарики выпускать?..» Вот когда волнуешься за свою работу, понимаешь, как важно каждый день бороться за марку фирмы, беречь свою рабочую честь!

Осень — пора отчетно-выборных партийных собраний. И у нас недавно на фабрике было такое собрание. Мне оно понравилось жаркими разговорами, горячей заинтересованностью коммунистов в том, чтобы их предприятие всегда оставалось передовым, достойным высокого звания коммунистического. На собрании я почувствовала, что рабочие-коммунисты живут теми же заботами и волнениями, что и вся остальная цеховая масса. Да иначе и быть не может: партия и рабочий класс едины. Уже давно стемнело, многие устали, прения пора было прекращать, а записавшихся выступить оставалось еще много.

О чем говорили коммунисты? О чем в эти дни говорят люди в цехах?

О том, что коммунисту мало отвечать только за себя. Он в ответе и за того, кто работает рядом с ним, в ответе за весь коллектив. О том, что работать надо лучше, о том, что выполнение нормы — это еще не все. Важно, чтобы продукция была только первого сорта, только отличного качества. Вот мы делаем башмачки «гусарики» и «молодецкие». Если вспомнить, как работали несколько лет назад, то скажу, что старались выгнать проценты, да и то старались не все, а наиболее квалифицированные и сознательные. Таким вручали вымпел. А другие? Другие по-прежнему делали свое дело кое-как.

Я не только про обувщиков. Мы все знаем, что еще недавно много шума было по поводу отдельных рекордов и отдельных зачинателей разных движений, а качество изделий легкой промышленности, машин, строительных работ оставалось неважное.

Нашей семье предоставили отдельную трехкомнатную квартиру. Это был праздник. Но, откровенно говоря, справив новоселье, мы потом еще долго недобрым словом поминали строителей. Много недоделок оставляют они. Наверное, спешат побольше жилья сдать. Это похвально. Только ведь они у своего же брата рабочего досаду вызывают, вместе с радостью доставляют огорчение. Или взять качество чулок. Женщины меня поймут... А чья вина? Да таких же рабочих людей, как и мы, это вина чулочниц, быть может, наших же товарищей-краснопресненцев из Тушина. А что делается с городским транспортом? К нам в Мневники, где вырос целый город, доехать в часы «пик» мука мученическая. Пуговиц не напасешься! Послушали бы товарищи, отвечающие за транспорт, пассажиров!..

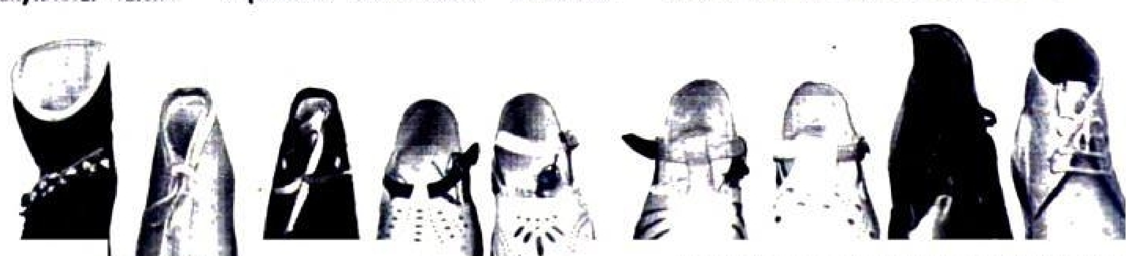
И я все чаще и чаще задумывалась: кто же отвечает за брак, за двери, которые не открываются, за чулки, которые годны только на один раз, за непродуманные маршруты троллейбусов и автобусов да и за те же гусарики, башмачки с негодной отделкой? Мы сами отвечаем — мы, чьими руками все это делается, рабочие и работницы, строители, обувщики, текстильщики, коммунисты тысяч и тысяч предприятий, хозяева страны. Плохо сам сделал — не жди доброго от других. Сам отлично работаешь — потребуй отличной работы от соседа по конвейеру, от товарища по цеху! Почему я так думаю? Время такое — время, когда совесть не позволяет работать спустя рукава, наплевательски относиться к делу. Рабочие — люди острые на язычок. Кому хочешь правду рубанут и не постесняются. А чего стесняться в своем государстве! Еще недавно мы справедливо возмущались тем, что кое-кто не скупился на обещания улучшить жизнь трудящегося человека, да только слова оставались словами, даже шумно как-то от них было, надоело пустословие. Нет, наше время требует от нас дела, активного вмешательства во все области трудовой и общественной жизни. К этому обязывают нас не только замечательные успехи, но еще в большей мере наши упущения, недоделки, отставание, например, в легкой промышленности. Коммунизм — не времянка на стройплощадке, возводить его надо на века, значит, должны мы уже сегодня позаботиться о красоте и прочности великолепного здания будущего. И тут первое слово рабочему человеку. И в самом деле, если человек — это действительно звучит гордо, то рабочий человек — звучит и гордо и ответственно.

Мне радостно сознавать, что на фабрике за последние годы произошли большие перемены. Когда-то нашу продукцию ругали. Матери, такие же трудовые женщины, как и работницы фабрики, как и мои подруги по цеху, были недовольны нашей обувью, не покупали ее, часто возвращали назад. У меня у самой двое детей, и я знаю, сколько надо пережить, пока детей оденешь, обуешь, снарядишь в школу или куда на праздник.

У нас более двухсот человек в цехе, тридцать семь работниц на потоке. Мы все знаем друг о друге, и это очень помогает в дружбе и в работе. Но так было не всегда. Я уже более двадцати лет работаю на фабрике и помню хорошо время, когда люди смену только отбывали. Случалось, заметишь, что соседка по конвейеру не так делает, скажешь ей, а она в ответ: «Тебе что, больше всех надо? А ты-то лучше, что ли?» Обидно было слышать такое. Мы, коммунисты, стали терпеливо разъяснять людям, что их продукция — это детская улыбка, радость матери, это—хорошее настроение советского человека. Или наоборот — испорченный праздник, ругань у прилавка, детские слезы дома. Наша обувь оседала на складах — так разве могли мы все оставаться равнодушными к этому?

Борьба за качество, за первосортность, борьба с возвратом стала как бы главным в нашей жизни. Это не кампания, не очередное движение, хотя были и у нас подняты инициаторы и разведчики этого дела, но я хочу подчеркнуть, что присмотрелись к своей каждодневной работе все: и быстрые, и медлительные, и бойкие, и люди с отсталыми взглядами, и кадровые рабочие, и молодежь. Я уже писала, что говорили о фабричных делах даже в троллейбусе, по дороге домой и на работу, а тем более в цехе, в бытовках, на занятиях кружка текущей политики. С первым сортом связывали и поведение, и настроение, и жилищные условия, и даже личную жизнь. В общем, это и верно: нельзя от человека требовать ударной работы, не поинтересовавшись, а что сам-то он, этот человек, думает о жизни, о нашем обществе, о задачах страны, о своем месте.

Был такой случай. Аня Волкова пришла в цех молоденькой, но сразу повела себя плохо. Скандалила, никого не слушала. Узнали мы, что у нее трудно в семье, живет она в подвале, а детишек уже двое. Сказали: поможем, но и ты будь человеком. Волчок наш, так мы ласково зовем Аню, не сразу поверила нам, коллективу, таким же, как она, женщинам. Но прошел год-два — Аню не узнать. Работает отлично, вообще другим человеком стала. Мы ее даже профгрупоргом выбрали. А скоро она получит и квартиру. Вот так: ты — коллективу, и он — тебе. А тем, кто только требует, мы говорим прямо: «Ты кому претензии предъявляешь? Других хозяев нет, кроме тебя, вот и переделывай жизнь, борись!» Теперь мы все живем в цехе одной жизнью, тут и житейское и политика — все перемешалось. Разговоры, как дома. Откровенные, сердечные, требовательные. Теперь уже никто не отмахивается, если сделаешь замечание, каждый знает, что если он проглядел брак, то друзья не пропустят и по-доброму подскажут. И заинтересованность у нас общая: мы и за план получаем и за качество. Бывало, даст кто-нибудь несортовое — ну и ладно. А теперь получаем премию лишь тогда, когда весь поток работает отлично. Вот и стараешься, чтоб и



ЕМЕНИ

товар был без брака и отделочка подходящая. Стали мы собираться сами по себе, обсуждать продукцию, потом мастера чаще стали беседовать с нами. Начальство нам претензии — ладно, только и мы за словом в карман не лезем, и у нас есть наболевшее. Были неполадки с моделями. Модель-то сама по себе хорошая, но это образец, а на конвейере каждый миллиметр ошибки, любая недоделка сказывается. Одно время поступал плохой крой, кожа была низкой сортности, колодки задерживали, срывали план, а то звонят из магазина: у ваших ботиночек шнурки грязные,— ну как тут не покраснеть!..

Все работницы и в первую очередь комсомольцы взялись за качество. Сейчас в каждом потоке — комсомольский пост. На фабрике здорово светит «Прожектор». Контроль в свои руки взяли рабочие, а раз так, то и администрация и вся партийная организация стали больше думать, как вывести фабрику в число предприятий отличной продукции.

Но мы-то в цеху больше следили за собой. Лучший контролер — твоя рабочая совесть. Мне одинаково стыдно, если кадровая работница уличит меня в халатности и если я сама замечу, как новенькая небрежно относится к делу, которому я отдала молодость, двадцать лет жизни! Так и тезка моя, Зина Арифулина. У нее ни одной пары брака. Вся обувь идет с первого предъявления! Зина — коммунист, отличная работница на ведущем процессе (пришивает подошву), она первая болеет за новеньких, за всех, у кого не получается. Совесть цеха наша Зина!

Лозунгами да афишками человека не перевоспитаешь, тут подход нужен. Профессиональная гордость, честь рабочая, гражданская совесть, личная ответственность — это все замечательные слова, но только надо, чтобы они дошли до человека. Люди не любят казенщины.

Есть у нас Надя Морозкина. Была она и раньше самой быстрой в потоке, всегда давала больше перевыполнения. А качество? Пока все мирились, Наде сходило с рук. Но вот мы подсчитали убытки от брака и поняли, что не передовик Наденька. Я смело ее называю, потому что Надя Морозкина стала другим человеком. Она поняла, что у нас не штамповка, а живое дело. Мы сидим на строчке союзок. Надо, чтобы строчка шла ровненько, поближе к краю, чтобы не было перекосов деталей заготовки. Ведь завтра ребенок возьмет твою пару. А фабрика за день выпускает до двенадцати тысяч пар! Двенадцать тысяч обновок! Очень много. Нелегко давать план, но еще горше, если самые маленькие граждане страны будут носить уродливую обувь.

Еще мы сделали так: каждая строчит своей ниткой. Я шью красной. Это незаметно, но если даже контролер пропустит брак, а пара все-таки вернется назад, то меня найдут. Распорют и докажут — твоя пара! Ну, и чтобы небитой быть, стараешься. Правда, не все новенькие это понимают, но мы с них глаз не спускаем.

Так от разговоров о качестве мы перешли к делу. Как видите, способов заставить работать отлично много. Главное — чтобы рабочий человек сам понимал свою личную ответственность за продукцию. Мы — за обувь фирмы «Восток», другие — за тракторы, за мебель, одежду, дома, дороги — за все, что сделано в СССР. Мы все лично заинтересованы в этом, потому что не имеем права позорить дело отцов своих, потому что весь мир следит за нашим строительством и, наконец, потому что в наших интересах, чтобы одежда, квартиры у нас были самыми удобными и красивыми, чтобы в магазинах и на столе был достаток, чтобы скорее приблизить коммунистическое время. Так что не на кого обижаться, если что не так: твоя страна, ты хозяин в доме от моря до моря, ты в силах сам наладить и порядок в своем доме, и труд, и быт. Чем скорее это поймут все, кто стоит за станком, кто пашет и строит, тем лучше! И тут уж нечего отсиживаться в углу, когда идет собрание рабочих в цеху или собрание коммунистов. Нечего отмалчиваться, когда слышишь, как болтун отнимает время и мешает по-деловому решить наболевший вопрос. «Не мое дело» — с таким фальшивым пропуском к фабричной проходной не подходи.

Другое нынче время. И наши обувщики-капрановцы, успевшие многое понять и переделать, считают, что мера твоего поведения дома и в цеху может быть только одна: с полной отдачей работать на коммунизм, на собственное благо. Так и Ленин учил. Народ никогда не прощал отступникам от народной линии и путаникам ленинских идей. И я, и ты, и он — все мы лично заинтересованы осуществить заветы Ильича. Вот это и пусть остается навсегда твоей нормой жизни.



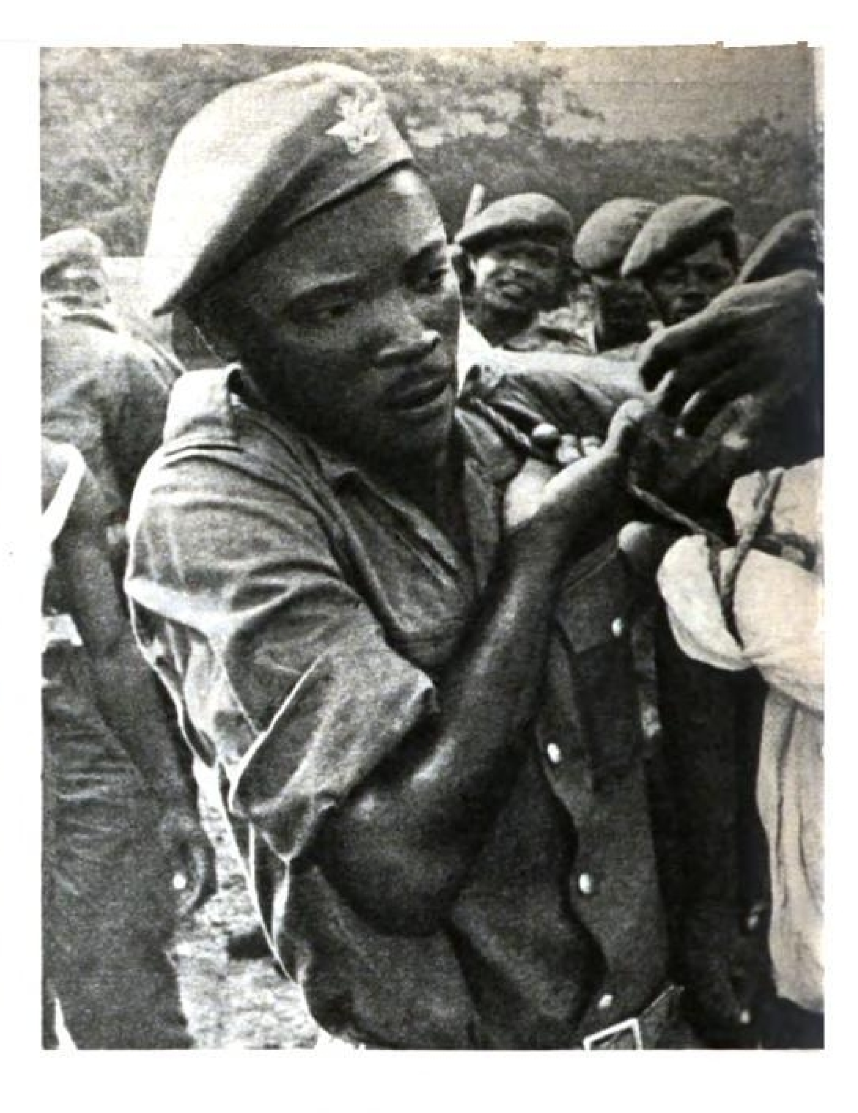
Шестой поток М. Л. Чепелевой борется за ликвидацию третьего и второго сортов.

Фото А. Бочинина.



Началась охота на людей, заподозренных в связях с партизанами.

ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ



Вик. КУДРЯВЦЕВ

Фото ЮПИ, ТАСС.

Бельгийские парашютисты погрузились в самолеты и вернулись на перевалочный пункт на острове Вознесения, а оттуда на свою базу. «Операция окончена»,— заявили американское и бельгийское правительства. Расчистив развалины Стэнливиля, белые наемники с опухшими от пьянства физиономиями и свирепые чомбовские жандармы в красных беретах прикладами сгоняют людей, подозреваемых в том, что они «симба» — партизаны. Их избивают и заталкивают в темные камеры, где уже набито множество людей. Время от времени их группами выводят наружу и расстреливают. Сотни трупов лежат под палящим солнцем. Их никто не убирает. В городе начались эпидемии. Пьяные солдаты врываются в еще сохранившиеся дома, мародерствуют, грабят. «Ценность человеческой жизни в этом городе стала равна нулю»,— пишет стэнливильский корреспондент «Ассошиэйтед пресс».

Вот он, колониализм, его препохабие, показавший миру свой отвратительный лик. Нет, он не изменил своей природы. Он тот же, что и прежде. Тот же прием — «карательная экспедиция», тот же предлог для нее — «защита жизни белых миссионеров».

Колониализм любит «защищать», «освобождать». Заместитель государственного секретаря США Аверелл Гарриман назвал интервенцию в Конго не более не менее, как «освободительной операцией». Вот как понимают колонизаторы слово «свобода»! Для них это свобода грабить, убивать, вмешиваться в дела других стран.

В. НИКОЛАЕВ

АМЕРИКАН

Голдуотер проиграл, но голдуотеризм, этот эмбрион американского фашизма, жив. Он может вырасти в страшную силу, угрожающую в первую очередь самому американскому народу. Итоги президентских выборов в США показали, что большинство американцев осознает реальность этой опасности.

О чем же думают те американцы, которые сознательно приписывают себя к так называемым экстремистам? Что могут противопоставить им такие же рядовые граждане США, отвергающие экстремистскую программу?

Любопытный диалог на эту тему произошел на страницах двух номеров американского журнала «Лук». В первом случае корреспондент журнала беседовал с Троем Хоутоном, членом явно фашистской организации минитменов. Хоутону 30 лет, он живет в городе Сан-Диего (штат Калифорния), женат, имеет троих детей. Живет скромно, на 200 долларов в месяц.

Вся деятельность организации минитменов исходит из предпосылки, что при нынешнем положении вещей Соединенные Штаты могут быть захвачены «красными». Причем, утверждают минитмены, главная опасность таится внутри самой страны. В одном из своих печатных изданий минитмены даже поспешили объявить соотечественникам: «Вы уже живете в коммунистической стране».

Члены организации входят в небольшие хорошо вооруженные отряды и постоянно проводят военные учения. Много внимания они уделяют также пропаганде своих взглядов. Один из главных принципов организации — строжайшая конспирация. Все члены числятся в списках не по именам, а под номерами. Трой Хоутон, например, имеет в своем отряде номер 930.

«Я не знаю и десяти процентов членов нашей организации в этом районе,— рассказывает № 930 корреспонденту журнала.— Я приучил себя не запоминать имен. Я долго твердил без конца: «Я не помню, как его зовут. Я не помню, как его зовут»... Если когда-нибудь при определенных обстоятельствах враги будут допрашивать и провоцировать меня, я буду просто не в состоянии выдать членов организации».

«У нас есть национальный исполнительный комитет,— продолжает Хоутон,— но каждый член организации может действовать как самостоятельная боевая единица. Все наше вооружение складывается из оружия членов организации. Мы изучаем партизанскую тактику. Каждые полгода мы проверяем каждого члена исполнительного комитета, исследуем, не изменились ли его убеждения. Делаем это при помощи специальных наркотиков и детектора лжи. Только двое из членов исполнительного комитета знают, где хранятся архивы организации. Даже основателю нашей организации потребовалось бы три дня, чтобы добраться до архивов, причем последние полдня из этих трех он был бы с повязкой на глазах».

Минитмены всюду, где только могут, пытаются влиять и на политическую жизнь страны. Вот еще одно из откровений Хоутона:

«В одном городе мы провалили на выборах мэра. С помощью женщин. Одна из них была прехорошенькая. Все это, как говорится, грязная игра, но в конечном счете мы имеем теперь нашего мэра».

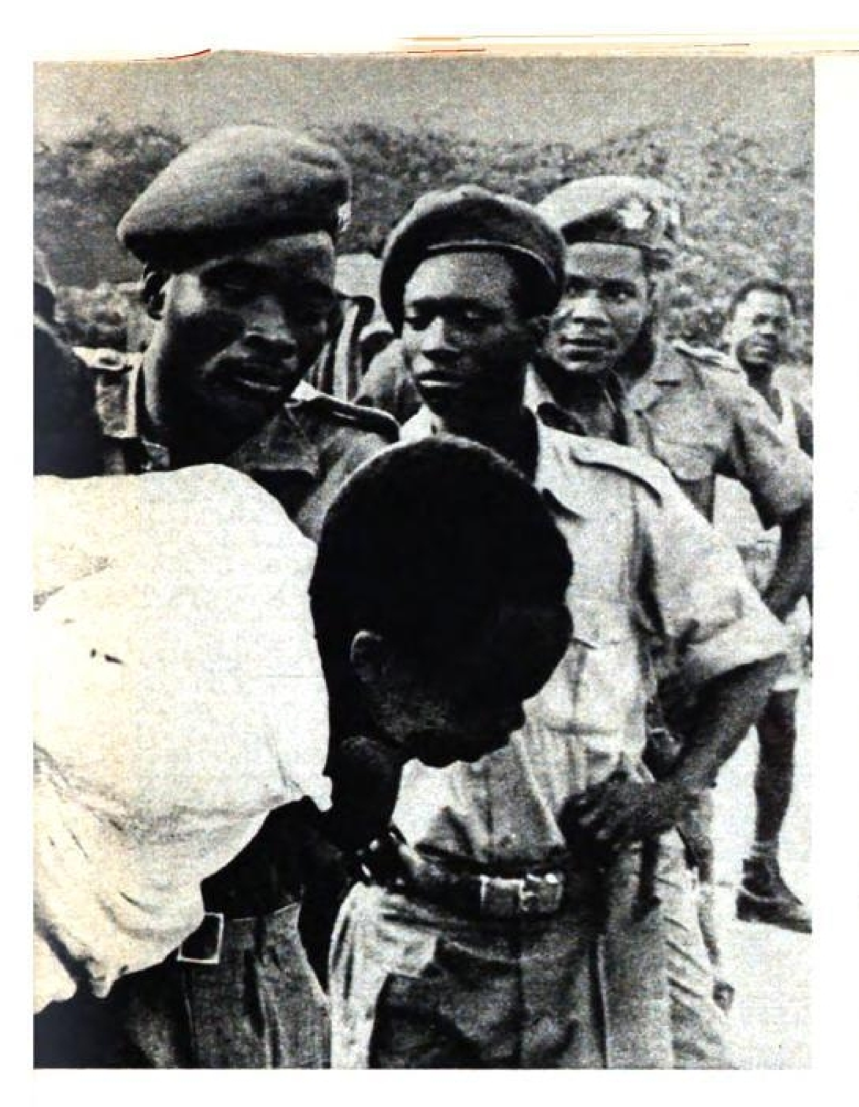
Если хоутоны участвуют в грязной игре в масштабах города, то их руководство делает ставки покрупнее. В органе минитменов «Он таргет» их лидер Де Пью писал недавно: «Не найти организации, которая приложила бы больше сил для избрания Барри Голдуотера, чем минитмены».

Больше всего Троя Хоутона раздражают те внешнеполитические шаги США, которые, как он считает, направлены на «умиротворение». Корреспондент журнала пишет, что даже жена Хоутона, мать троих детей, с презрением говорит о мире и настроена не менее воинственно, чем ее муж.

Трой Хоутон — убежденный американский фашист, не скрывающий своих взглядов и даже дающий интервью журналу, тираж которого — семь с половиной миллионов. Если принять во внимание железную дисциплину и конспиративность минитменов, то станет ясно, что согласие на интервью не просто добрая воля Хоутона. Это — старательное исполнение очередного приказа руководства организации. Это идеологическая диверсия. Это, наконец, реклама, без которой в США не могут обойтись и фашисты.

Несмотря на всю крайность своих взглядов, Хоутон, по его словам, не слывет выдающейся личностью среди минитменов. «Многие консервативно настроенные люди,— признается он,— считают, что я либерал». Еще бы! Разве может он пока тягаться с одним из местных лидеров, который читает изумленным хоутонам лекции о новейших происках «красных». Оказывается, «красные» организовали много тайных клиник, куда завозят предварительно одурманенных консерваторов. Там им суют длинную иглу в ноздрю и вмиг выскабливают из мозгов все консервативные убеждения. Человек очнется вне пределов клиники, будет жив-здоров, ничего не вспомнит, но от прежних убеждений у него не останется и следа.

Подобный чудовищный бред, размноженный в изданиях крайне правых, наводняет Соединенные Штаты. Этот бред исходит не только от минитменов, но и от многих других организаций американских ультра, в том числе и от крупней-



«Свободный мир»! В Стэнливиле западные державы наглядно продемонстрировали, что это значит в действительности.

Парашютисты вернулись на базу. За колониальными державами тянется кровавый след...

Сейчас становится все более ясно, что «операция Стэнливиль» — это один из эпизодов заговора, разработанного колонизаторами против освободительного движения в Африке в целом.

Центр тяжести этого движения все больше переносится к югу от экватора, туда, где колонизаторы сохранили наиболее прочные позиции, в районы так называемого «белого вала». Здесь сейчас сконцентрированы последние колонии европейских держав — Ангола, Мозамбик — и опорные пункты расизма — Южная Родезия и Южно-Африканская Республика. Но приближается время крушения и этих колониальных крепостей. Бушует пламя партизанской войны в Анголе и Мозамбике. Трещат насквозь прогнившие режимы Смита и Фервурда. В этих условиях колонизаторы придают особое значение укреплению и сохранению своей базы в южном районе с тем, чтобы в будущем нанести с этого предмостного укрепления удар по молодым независимым государствам Африки. «Белый вал» — это архимедов рычаг запада», — заявил в свое время Ян Смит, премьер-министр Южной Родезии. Он имел в виду план колониальных реваншистов: с помощью этого рычага повернуть колесо истории назад, оставить африканский континент в смертельных объятиях империализма. «Спасательную операцию» в Конго можно понять только в связи с этой новой стратегией западных держав в Африке.

◄ Наемники Чомбе расправляются с одним из пойманных партизанов.

Но законы истории неодолимы. Заговор колонизаторов против Африки — это заговор обреченных. Буря негодования прокатилась по всему африканскому континенту. Борцы против империализма рассматривают колониальную авантюру в Конго как вызов всему делу освобождения африканских народов.

Народ Конго уже не поставить на колени. Колонизаторам не удалось сделать это четыре года назад, когда они убили Патриса Лумумбу. Им не удастся сделать это и теперь.

«Операция закончена», — заявили правительства колониальных держав. Они заблуждаются. «Операция» по очищению Африки от колониализма продолжается.

Окровавленные тела погибших конголезцев лежат под палящими лучами солнца.



СКИЙ ДИАЛОГ

шей из них — общества Джона Бэрча.

«Почему я не могу вступить в общество Джона Бэрча?» — так озаглавлено письмо Ричарда Бэкона к своему другу Джорджу. Оно так же, как и беседа с Хоутоном, опубликовано в журнале «Лук».

Ричард Бэкон — республиканец, директор начальной школы в Хантингтон Бич (штат Калифорния), председатель правления местной церкви, отец троих детей. Одним словом, Ричард Бэкон — это рядовой американец, отнюдь не «красный». В своем письме он особо подчеркивает свой 100-процентный американизм и свою неприязнь ко всему, что он слышал о коммунистической идеологии.

Он так начинает свое письмо:

«Дорогой Джордж! Я благодарю тебя за приглашение вступить в общество Джона Бэрча. Как ты помнишь, я с самого начала скептически отнесся к этому. Ты тогда указал на мою полную неосведомленность. Я последовал твоему совету и в течение шести месяцев тщательно изучал печатные издания, грампластинки и тексты выступлений членов общества. Всем этим ты меня любезно снабдил. Вспомни, что у нас с тобой было много бесед, и я был внимательным слушателем, задавал много вопросов. Я также присутствовал вместе с тобой на собраниях общества».

«Я хочу тебе напомнить, — продолжает Бэкон, — и о пластинке, которую ты мне дал. Там записано выступление некоего Тома Андерсона. Цитирую его: «Наши лидеры не борются с коммунизмом, а поддерживают его. Некоторые не могут понять, почему эти богатые люди, эти Кеннеди, эти Рузвельты, эти Рокфеллеры поддерживают социализм...»

Не может понять эти бредовые высказывания бэрчистов и Ричард Бэкон. Человек здравый и рассудительный, он лично прекрасно понимает, что его правительство отнюдь не «поддерживает социализм». Но у бешеных своя логика. Логика ненависти. Она претит всем здравомыслящим американцам, в том числе и Бэкону. Он пишет:

«Эйзенхауэр — коммунист. Так утверждает в своей книге «Политик» Роберт Уэлч, основатель общества Джона Бэрча. Я надеюсь, что ты будешь против любой попытки повесить на меня ярлык «коммуниста» или сочувствующего им только за то, что я отрицательно отношусь к вашей организации».

Изучив повадки ультра, Бэкон лишний раз открещивается от коммунизма. И тем более знаменательно, что он решается бросить вызов американскому фашизму.

«Я не только не могу вступить в члены общества Джона Бэрча, — пишет Бэкон, — но считаю своим долгом активно выступить против него. Я убежден, что общество по своему духу является антиамериканским. Во-первых, потому, что оно объявляет виновным любого, не попытавшись доказать его вину».

Бэкон возмущается, что бэрчисты причисляют к врагам Америки не только сотни известных американцев, но также и целые организации, особенно те, что выступают за мир. Не случайно вопросы войны и мира стали главными и решающими на последних выборах американского президента. Бэкон и миллионы подобных ему американцев не хотят, чтобы «бешеные» ввергли их в пучину термоядерной войны.

Бэкон — добропорядочный американец. Он уважает закон, и его не может не пугать то, что бэрчисты призывают к свержению американского правительства.

«Я убежден, — пишет он, — что призывы к свержению нашего правительства являются антиамериканским делом. А печатные издания общества Джона Бэрча и вся его философия призывают к такому свержению. Я хочу обратить твое внимание также и на антидемократическую политику общества». Здесь Бэкон приводит примеры того, как бэрчисты восхваляют самых зловещих диктаторов.

В своем письме Бэкон пишет и о том, как бэрчисты стремятся не только похитить у людей будущее, но и фальсифицировать их прошлое, исказить историю. В частности, исказить историю второй мировой войны, опорочить героическую борьбу народов, в том числе американского и советского, против фашизма. Говоря о союзе США и СССР во время войны, Бэкон справедливо замечает: «Нельзя забывать о том, что две нации вместе сокрушили общего врага — безграничное зло, которое было воплощено в гитлеровском нацизме».

Будучи человеком религиозным, Бэкон заявляет, что расизм, который проповедуют бэрчисты, противоречит учению Христа. Он ссылается при этом на библию и историю церкви. Но какова бы ни была его аргументация, он обвиняет, опираясь на реальные факты из деятельности бэрчистов. В частности, Бэкон приводит примеры пропаганды расистских взглядов в печатных изданиях общества и справедливо пишет, что «расизм поднимает свою ужасную голову со страниц официальной прессы общества».

Возможно, что редакция журнала «Лук», напечатав интервью с Троем Хоутоном и письмо Ричарда Бэкона в разных номерах, не думала сопоставлять два этих материала. Но как бы там ни было, прочитанные одновременно, они воспринимаются как очень характерный для современной Америки диалог. Диалог, от исхода которого в немалой степени зависит, куда дальше пойдут Соединенные Штаты.

СТАРЫЕ МАСТЕРА ФРАНЦИИ

А. ЧЕГОДАЕВ, доктор искусствоведения

Все народы земли и все века истории человечества участвовали в создании бесчисленных художественных ценностей, собранных на берегу Невы. Но первое место в сокровищнице Эрмитажа бесспорно принадлежит художникам Франции. Первое по изобилию работ и по числу залов, по полноте и высокому качеству коллекции. Живописцы и скульпторы, рисовальщики и граверы, ткачи и оружейники, мебельщики и керамисты создали прекрасные вещи, определившие в немалой доле всемирную славу Эрмитажа. Пятьдесят залов — огромных по своим размерам — заполнены творениями художников Франции.

Ленинградское собрание замечательно во многих отношениях. Конечно, на свете есть музеи, где отдельные периоды истории французского искусства представлены особенно ярко и богато. С необыкновенным блеском собран, например, восемнадцатый век в Галерее Уоллес в Лондоне; однако даже Уоллесовская галерея в том, что касается французских декоративных изделий этого века — гобеленов, мебели или фарфора,—меркнет по сравнению с богатствами Хэнтингтоновской галереи в Сан-Марино, в Калифорнии. Нельзя понастоящему представить себе высокий расцвет французского искусства от Домье и Манэ до Марке и Майоля, если не видеть музея Глазго в Шотландии, Института Курто в Лондоне, Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, замечательных музеев Вашингтона, Нью-Йорка, Филадельфии и Чикаго. Но только в Лувре, в Париже, можно увидеть воочию всю историю искусства Франции от эпохи Возрождения до начала двадцатого века с такой же подробностью и систематичностью, как в Эрмитаже; проследить все направления и течения, противоборствовавшие или последовательно сменявшие друг друга на протяжении последних пяти веков.

Соревнование с Лувром Эрмитаж, правда, выдерживает не всегда с равным успехом. Однако ж удивительно ли, что в Париже французское искусство предстает перед глазами зрителя сильнее и ярче, чем в Ленинграде?

Самые значительные и полные разделы эрмитажной коллекции — это искусство семнадцатого и восемнадцатого, а также конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Здесь Эрмитаж достигает высшего уровня музейного богатства, какой существует в мире. Здесь можно в полную меру оценить подлинное значение творческого вклада, внесенного Францией в художественную культуру человечества.

Неповторимое своеобразие черт национального творчества выступает здесь со всею ясностью и выразительностью, в глубокой и неразрывной связи с временем. Но особенно интересно то, что полнота эрмитажного собрания позволяет сопоставить высокие достижения больших художников с небогатым по мысли творчеством их идейных и творческих врагов. Они нередко обладали всеми возможностями для утверждения своих ложных, реакционных художественных взглядов и усердно преследовали все живое в современном им искусстве. Поэтому, скажем, достоинства Пуссена выступают еще сильней и ярче по сравнению с банальной скукой Симона Вуэ. Придворный художник короля Людовика XIII, Вуэ старался всеми способами отравить жизнь Пуссену. И только справедливый суд истории поставил Вуэ на место. Достоинства Ватто и Шардена становятся еще привлекательней и еще глубже, когда неподалеку, в соседних залах, видишь картины безличных и пустых декораторов вроде целой династии Куапелей. Или вроде Карла Ван-Лоо, который себе-то самому и его недалеким современникам казался величайшим художником Франции XVIII века! Силу и глубину Дега или Ван-Гога можно с особенной отчетливостью почувствовать и понять, когда пройдешь в их залы из зала Мориса Дени, художника, донесшего до двадцатого века все сладкое лицемерие и всю розовую ложь салонного искусства.

Другие музеи поступают иначе. И, пожалуй, они действуют упрощеннее, вывешивая в залах лишь признанные шедевры и убирая в запасники все второсортное и консервативное. В замечательной Национальной галерее в Вашингтоне, за редчайшими исключениями, выставлены лишь те художники, чьи работы вели художественное развитие вперед, определяя собой высший уровень искусства своего времени. Несомненно, создается очень сильное впечатление от этого победного, ничем не омраченного шествия от одних вершин к другим вершинам. В нем есть хорошее и гордое утверждение безграничных возможностей подлинного вдохновения художников всех времен и народов.

Однако же Эрмитаж поступает более мудро, предлагая зрителям не только праздник искусства. Общая картина художественного развития похожа здесь скорее не на праздник, а на поле битвы. И, может быть, такой более открытый и правдивый, более широкий взгляд на трудную и тяжелую, противоречивую историю творческого развития воспитывает и воодушевляет зрителя больше, чем одна только чистая радость от лучших достижений искусства, без всякой изнанки его истории.

Знакомя зрителей с напряженной борьбой, непрестанно шедшей в течение веков, Эрмитаж предъявляет посетителям справедливые, хотя и очень высокие требования. Здесь нельзя не думать, нельзя не понимать искусство, нельзя обойтись без подлинных знаний истории. Эрмитаж не для ленивых умов, воспринимающих лишь готовые формулы и готовые истины. Нужно ведь на самом деле суметь отличить хорошее от плохого, большого мастера от ловкого ремесленника, подлинный прогресс от мнимой новизны или пустого подражания старому, давно отжившему.

Настоящее, большое искусство не подвластно времени. Оно никогда не устаревает и живет рядом с нами, зовя вперед. Настоящее искусство не может быть чем-то законченным: его нельзя «отменить» последующими этапами художественного развития. Наоборот, с ходом времени значение подлинных художников, как и их воздействие на умы и сердца позднейших поколений, все больше углубляется и усиливается.

Великий Пуссен был знаменит при жизни, хотя ему пришлось прожить всю жизнь в чужой стране, за пределами Франции. Но его ученики и подражатели, именовавшие себя «пуссенистами», не имели и тысячной доли глубины и мудрости, свойственных Пуссену. Понадобились века, чтобы разные стороны идейной и образной системы Пуссена были поняты и продолжены. Сначала его развивал Антуан Ватто, затем, по-иному, он был продолжен Луи Давидом в эпоху Великой французской революции. В девятнадцатом веке Пуссену следовали — опять же по-своему — Делакруа и Сезанн. И только тогда раскрылось во всем благородном величии значение художественных принципов Пуссена.

Антуана Ватто обижали и не понимали при жизни. И менее всего понимали его те легкомысленные художники, которые старательно подражали позам и костюмам на картинах Ватто, ничего не

Жан Батист Симеон Шарден. 1699—1779. ПРАЧКА. 1737.

Государственный

ЭРМИТАЖ



Луи Ленен. 1598—1648. СЕМЕЙСТВО МОЛОЧНИЦЫ. 1640—1645.



Антуан Ватто. 1684—1721. САВОЯР С СУРКОМ. 1700-е годы.

смысла в образном строе его творений — глубоко романтическом, тревожном, полном веры в человеческое достоинство. Этих подражателей, правда, уже тогда прозвали «обезьянами Ватто». Но, не унывая, они торопились нажиться на хищнической эксплуатации внешних приемов великого мастера.

Подлинный смысл искусства Ватто был понят и усвоен большими художниками последующего времени: Шарденом, Перронно и Фрагонаром в восемнадцатом веке, великим Домье — в девятнадцатом; на его работы внимательно смотрели и молодой Ренуар и молодой Пикассо... Так устанавливалась не только настоящая глубокая преемственность большого искусства, но и выяснялось истинное значение мастеров прошлого, которые занимали подобающее им место в истории и нашем времени. Что же касается «пуссенистов» или «обезьян Ватто», то их уделом становятся лишь скупые строки в специальных исследованиях да второстепенные углы музейных залов. В большой истории искусства они числятся на самых скромных ролях, представляя ее отходы.

В старом и новом французском искусстве ясно выступает преемственность передовых художников. И сходство между ними не менее интересно, чем различие. Все они, как выражался Онорэ Домье, «принадлежали своему времени». То есть они наиболее глубоко воспринимали самые передовые идеи своего времени, иногда даже обгоняя свое время.

Именно поэтому они и остаются живыми навсегда.

В самом деле, разве есть хоть что-нибудь устаревающее в благородном достоинстве и моральной чистоте крестьян начала семнадцатого века, которых с таким эпическим, поистине монументальным величием изображал Луи Ленен в своих бесхитростных сценах деревенской жизни!

В Эрмитаже Ленен представлен «Семейством молочницы» и «Посещением бабушки». Спокойная убежденность ясных и правдивых человеческих образов становится еще более впечатляющей, когда вспоминаешь Францию тех десятилетий, непрестанно сотрясаемую мощными крестьянскими восстаниями. Луи Ленен был чужд тому, что делалось придворными живописцами в Париже, он жил очень далеко от Пуссена, уехавшего в Италию. Но в своем искусстве Ленен пришел к тому же, что и Пуссен: в его картинах сложилась такая же строгая уравновешенность композиционного строя, такая же гармония, как у его великого современника. Ничего похожего нет и в помине в пустом, пышном и велеречивом придворном искусстве, рабски копировавшем иноземные образцы.

В отличие от безличного шаблона королевских живописцев вроде Вуэ или Лебрена именно в драматических и героических картинах Пуссена, подобных эрмитажным «Танкреду и Эрминии», «Полифему» или «Спасению Зенобии» — так же, как в крестьянских жанрах Ленена,— находит свое выражение ищущий, размышляющий, мятежный дух французского народа. Вопреки сковывающей мертвенности и давящей фальши господствовавших тогда придворных вкусов этот незримый дух вырывается на свободу, утверждая главные задачи своей эпохи—моральное торжество человека и народа.

Свобода от сословных и классовых предрассудков, неподкупная душевная чистота, искренность чувств и мыслей, отлитых в строгую, чеканно точную, полную изящества художественную форму,— все эти качества и свойства можно в ярко индивидуальных вариациях найти и у Ватто и у Шардена. Они заявляют о себе и в реалистических портретах Давида или Энгра и в живописи Домье, Эдуарда Манэ или Эдгара Дега... Передовые традиции прочно связывают лучших художников Франции, на сотню ладов отражаясь в их личных пристрастиях, творческих увлечениях, сложностях и противоречиях. Но чего нет вовсе среди мастеров — так это ни холодных экспериментаторов, ни рассудочных доктринеров, ни расчетливых дельцов, угождающих отсталым и ложным вкусам.

Стоит сравнить любую из крестьянских сцен Ленена с любой «крестьянской» сценой Тенирса — фламандского жанриста того же семнадцатого века,— чтобы ясно ощутить особый путь больших мастеров. Лененовская простота и правдивость еще больше выигрывают, когда видишь рядом тенирсовских карикатурно-комических крестьян, неизменно пляшущих и веселящихся, но всегда уродливых и глупых. Со снисходительным пренебрежением взирают на неуклюжих дикарей важные, разодетые горожане... И словно два разных мира проступают в картинах двух художников одного века!

Ближайшим наследником важнейших принципов искусства Пуссена и Ленена стал Ватто, мечтавший, подобно Пуссену, о блаженной стране, населенной прекрасными людьми, не знающими горя и бед. Художник, конечно, понимал несбыточность своей утопии в уродливых и тяжелых условиях французской действительности начала восемнадцатого века. Но он соединял романтическое воображение с пристальным вниманием к жизни простых людей. И с великим уважением писал и рисовал бродяг, нищих, странствующих музыкантов, ремесленников, крестьян... Особенно же актеров ярмарочного театра и итальянской комедии, раскрывая целый мир сложной и тонкой душевной жизни. Недавно И. С. Немилова — научный сотрудник Эрмитажа — доказала, что знаменитый «Савояр» Ватто, хранящийся в Эрмитаже, не является одной из начальных работ художника, как это считалось до последнего времени, а создан около 1716 года, уже в пору высокого расцвета творчества замечательного мастера. Это открытие утверждает взгляд на Ватто как на художника, никогда не забывавшего жизненной правды, даже ради тех возвышенных и поэтических мечтаний, какие увлекали его в те же самые годы. От таких работ Ватто в Эрмитаже, как «Савояр», «Военный роздых» или прекрасный маленький групповой портрет актеров, лежит прямой путь к шарденовским сценам повседневной парижской жизни, к работам таких острейших наблюдателей реальных событий и людей своего времени, как Перронно, Фрагонар или Габриель де Сент-Обэн.

Шардену достаточно видеть самые обыденные и скромные вещи и дела у себя дома, чтобы превращать их в чистейший источник высокой поэзии. Прачка за стиркой белья, мать, читающая молитву перед обедом, совершенно чужды литературной занимательности, декоративной эффектности. Шарден раскрывает в них художественную и этическую ценность с помощью тончайшей колористической гармонии, выверенного ритма композиции. А главное, с помощью своей убежденной веры в разумность и естественность жизни третьего сословия, выходившего на путь, закончившийся Революцией 1789 года. Опираясь на открытия Ватто и Ленена, Шарден сам стал источником вдохновения для Манэ и Дега, творивших все в той же орбите большого гуманистического и демократического искусства. Шарден, как и его предшественники, не просто противостоял нарядному и эффектному, изощренному придворному искусству. Он был его опаснейшим и непримиримым врагом!.. Так в мирных, казалось бы, залах французского раздела эрмитажной картинной галереи по-прежнему идет смертельная борьба. И никакого общего языка, никакой связи нет и не может быть между Шарденом и его антиподом и антагонистом Франсуа Буше — виртуозным постановщиком монотонно однообразных феерий, блещущих холодными пестрыми красками.

Буше, впрочем, нисколько не стеснялся ни своего легкомыслия, ни своей нарядно прикрашенной лжи. Если Шарден или Перронно были соратниками философов-просветителей, то Буше стал, быть может, в искусстве самым полным олицетворением старого порядка, опрокинутого Великой французской революцией. Только полнота исторической характерности и спасает Буше от забвения, которое давно уже поглотило таких менее одаренных спутников его, как Ван-Лоо, или Пьер, или Дуайен и им подобные художники, писавшие огромные и пустые академические полотна.

Правда, лицемерное и фальшивое наследство Буше почти целиком перешло в руки Греза, чье слезливое мещанство, назойливое и нетерпимое, оказалось для судеб французского искусства еще более вредным, чем откровенный цинизм Буше.

По какой-то непонятной и давней ошибке с явно неверным приписыванием авторства Грезу, в одном из залов Эрмитажа висит прелестная «Девочка с куклой» Жана Батиста Перронно, лучшего французского портретиста восемнадцатого века, парная к его же «Мальчику с книгой», тоже долго числившемуся в Эрмитаже под чужим именем — на этот раз Шардена. Обе работы прекрасного художника Перронно написаны в отличие от академической черноты, замусоленности и аффектации Греза — нежными, прозрачными и легкими оттенками серебристо-сиреневого тона. Полные психологической тонкости, они снова, как и в случае с Шарденом, свидетельствуют о подлинной глубокой преемственности передового искусства, о следовании высоким традициям, ради того чтобы на их основе создавать свое новое и современное искусство.

Ведь такая же душевная тонкость, такое же выработанное веками изящество ясной художественной формы оказываются неотъемлемым качеством и других лучших французских художников восемнадцатого века. Их можно найти и у полного ума и свежести Фрагонара, и в нежных, задумчивых портретах Вуаля, и в беспощадных по своей честной зоркости портретных скульптурах Гудона, и в поистине ослепительной жизненной прелести маленьких статуэток и рельефов Клодиона... Можно всю жизнь посещать залы Эрмитажа и всю жизнь радоваться неисчерпаемой новизне его художественных сокровищ!

Правда, переходя в залы первой половины девятнадцатого века, неизменно испытываешь чувство огорчения и неудовлетворенности. Картин и скульптур здесь много, но словно нет души в этом разделе, дающей силу и жизнь. Слишком много случайных вещей, второстепенных и лишних, но нет многого, очень важного, и даже решающего. Нельзя составить представление о героическом и мятежном пафосе Луи Давида — величайшего художника Французской революции — и о ясном уме, виртуозной пластике художественного языка Энгра, о могучей силе Жерико и о сверкающем воображении и душевной тревоге Делакруа, пламенном и нежном гуманизме Домье, умной и светлой одухотворенности Эдуарда Манэ. Действительную силу и значение Прюдона, Коро, Милле, Курбе не представишь по тем вялым, случайным работам, под которыми стоит имя этих больших мастеров. Разве лишь в «Озере» Коро можно почувствовать — да и то отдаленный, ослабленный — отблеск величия и силы французского искусства первой половины девятнадцатого века. Правда, хорошо представлены некоторые второстепенные мастера. Но трудно переложить на их плечи ответственность за свое время. Да и не нужно судить по ним о действительном уровне тогдашнего искусства. Они позволяют судить лишь о некоторых сторонах современного им французского искусства, тогда как самого главного тут не увидишь.

...Переход к новому искусству в Эрмитаже совершается резким и внезапным скачком, так как картин Эдуарда Манэ, величайшего художника Франции девятнадцатого века, здесь нет. Впрочем, об этом новом искусстве — о художниках от Клода Моне и Ренуара до Матисса и Пикассо — нужно говорить особо, потому что не скажешь кратко о великолепной веренице залов на третьем этаже Зимнего дворца, с таким вкусом и мастерством устроенной талантливым историком искусства А. Н. Изергиной.

Собственно, и новое искусство уже отдалено от наших дней самое меньшее полустолетием, а иногда и полным веком. Оно давно уже стало не менее классическим, чем искусство предшественников. И самое главное в нем, конечно, то, что большие художники этого периода — Дега или Ван-Гог, Сезанн или Тулуз-Лотрек, Майоль или Роден, Марке или молодой Пикассо (его новых работ в Эрмитаже нет) — по-прежнему следуют большим гуманистическим традициям жизненной правды. Их творчество выражает ту же высокую ответственность художника, какую свято несли большие художники старой Франции.

УЧЕНИКИ СО ВСЕГО СВЕТА

И. ВЕРШИНИНА,
Д. УХТОМСКИЙ

«Нашему прекрасному институту» — эти слова написаны на многих афишах, что хранятся здесь. Афиши все большие, нарядные. Возвещают они о премьерах. Но об этом обстоятельстве мы уже можем только догадываться: прочесть все их — задача трудная даже для полиглота. На каких только языках они не написаны! Не говоря уже о русском, украинском, белорусском, тут и армянский, и хинди, эстонский, чешский, узбекский, китайский, татарский, немецкий...

Но на каждой где-то в уголке, как интимный, сердечный автограф близкому, дорогому другу, надпись по-русски: «Нашему институту».

Премьера — первая в жизни премьера, первый самостоятельный шаг, отчет уже не перед комиссией, не перед педагогами, а перед самым высоким судьей — перед зрителем. Не напрасно ли учился? Стал ли художником? Что несешь людям?

Кому же рассказать раньше всего о первой премьере, как не тем, кто тебя воспитывал!

И в Москву, в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, идут со всего света афиши, фотографии спектаклей, программки, газетные рецензии, письма, телеграммы...

Со всего света! Это, конечно, несколько преувеличено, но если на географической карте мира отмечать флажками те места, где есть воспитанники ГИТИСа, карта расцветет, как клумба.

В институте есть хороший обычай: на праздники первокурсники шлют поздравления всем выпускникам — мы знаем о вас, помним, принимаем эстафету. При нас первокурсники составляли списки — записывали адреса; список напоминал оглавление географического атласа.

Но эстафету принимает молодежь не только в институте.

На одной из фотографий дипломного спектакля «Тропою грома», поставленного в театре Варны Стефаном Йордановым — воспитанником балетмейстерского отделения,— солистка балета Маргарита Арнаудова, сейчас она тоже студентка ГИТИСа и тоже на балетмейстерском.

Саид Мехти Шефа из Афганистана мне рассказывал, что он играл уже большие роли, режиссировал, когда в Кабул приехал для постановки спектаклей заслуженный артист Таджикской ССР Шамси Киямов (гитисовец). После этой встречи Шефа понял, что никогда не поздно человеку учиться, и приехал в Москву...

Так они собрались в этих стенах, посланцы более 20 стран, и быстро влились в дружную семью института. Когда мы спросили у старосты III курса балетмейстерского отделения Милы Федоровой, есть ли на их курсе студенты из других стран, Мила вначале даже как-то растерялась:

— А мы уже и забыли, что они иностранцы, У нас вообще курс многонациональный. И из Польши ребята, и из Монголии, из Эстонии, Дагестана, Кабарды... Вместе мы обсуждаем наши замыслы, вместе ночами готовимся к экзаменам (многие не очень тверды в знании русского языка, а когда учим сообща, им легче), вместе в общежитии встречаем праздники.



▶ К студийным подмосткам они шли разными путями: Бедрос Киркоров — по дорогам Болгарии, Лидия Сороюна — по целинным землям. Сошлись пути на отделении музкомедии в оперетте И. Штрауса «Цыганский барон».



Искусство балетмейстера. На этом уроке познается хореографическая драматургия, хореографическая композиция и режиссура. Здесь важно не формальное выполнение упражнения, а художественное решение задачи. Сейчас на уроке профессора Шатина над композицией работают Ханна Миллер (Польша), Батор (Монголия) и Мила Федорова (СССР). Слева — доцент Д. Удальцов. ◀

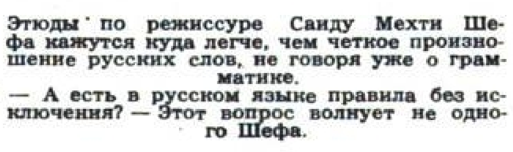
Свой первый балет Ли Ван Хунг посвятил своей родине — Вьетнаму. Он задумал его еще на II курсе, а сейчас, когда студенты разъехались на практику, Ли Ван, или Леня, как зовут его друзья, вместе с двумя своими соотечественницами поставил в Ханое спектакль «Возвращение». О чем он? Конечно, о борьбе, которую ведет на юге страны его народ. Ведь Ли Ван сам с юга, только вот уже десять лет после того, как погибли его родители, он не был в родных местах. Жаль, что друзья по институту не видали его спектакля. И Ли Ван у макета рассказывает Маргарите Арнаудовой, как воплотил замысел. ▶

Элендсона Эвентура, несмотря на его лета, в ГИТИСе считают зрелым человеком. Он всегда знает, чего хочет, что ему надо делать. Так было в Исландии, когда, овладев столярным ремеслом, он пошел в театральную студию, а окончив ее, ездил по деревням и ставил в кружках небольшие спектакли. Так и в Москве. Приехав сюда на один год, он решил проучиться все пять. Но этот взрослый человек чувствует себя совсем маленьким, когда разговаривает со своим педагогом по режиссуре профессором Кнебель. Шутка ли, ученица и соратница самого Станиславского!
▼





Этюды по режиссуре Саиду Мехти Шефа кажутся куда легче, чем четкое произношение русских слов, не говоря уже о грамматике.
▼ — А есть в русском языке правила без исключения? — Этот вопрос волнует не одного Шефа.

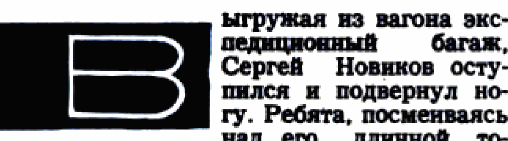




▲
На сцене Театра имени Немировича-Данченко и Станиславского студентка ГИТИСа Вера Бокадоро репетирует свой дипломный спектакль. Исполнители, тоже молодые, все говорят друг другу «ты». Только грассирование выдает в балетмейстере француженку. Но в театре она своя.
Здесь занималась Вера станком, когда приезжала в 1957 году в Москву на Всемирный фестиваль молодежи; здесь вместе с курсом проходила практику; здесь поставила свой первый одноактный спектакль «Однажды на Монмартре». И вот теперь готовит диплом.
Но и диплом не завершит связь Веры Бокадоро с советским искусством: впереди заочная аспирантура по истории русского и советского балета.

◀ — Мы так все привыкли друг к другу, у нас одна семья.— Это говорит Ханна Миллер из Варшавы.— Все заботливые, нет зависти. И педагоги всегда так хотят нам помочь! Мы с грустью думаем о том, что кончим учиться и расстанемся с институтом. Если на работе у нас будет такая же атмосфера, это будет счастье.





Выгружая из вагона экспедиционный багаж, Сергей Новиков оступился и подвернул ногу. Ребята, посмеиваясь над его длинной, тощей фигурой, прыгающей по перрону, помогли добраться до железнодорожной больницы. Недовольный доктор перебинтовал ему лодыжку, приказал лежать и отправил в карете «Скорой помощи» в районный Дом колхозника, где уже по-хозяйски, домовито устраивались геологи поисковой партии.

А на рассвете подошли крытые брезентом машины, началась погрузка, и Новиков, впервые оказавшийся без дела, сидел на чисто вымытом крыльце, положив на колени костыль, и сквозь толстые очки наблюдал, как ребята бросали в кузова свои рюкзаки, закуривали с шоферами и с хрустом потягивались.

Завхоз экспедиции Михеич, которого все называли «дядькой», в тяжелых яловых сапогах и брезентовом пиджаке с отвисшими карманами, перед тем как дать сигнал к отправлению, подошел к Новикову, словно в последний раз прикидывая, что еще можно сделать, и тронул его за плечо.

— Ничего, Серега... Подправишь ходовую часть, заеду... С кем надо, я договорился, условия тебе создадут...

Когда шум моторов затих где-то за садами и на тихой улице осела пыль, на крыльцо вышла дежурная, сонная, седая, в накинутой на плечо стеганке, и, сладко, с придыханием зевая, сказала:

— Иди зорюй... «Люкс» тебе отдаю...

Она провела Новикова в крохотную комнату, похожую на пароходную каюту, в которой с трудом размещались железная, пахнущая керосином кровать, крашеный тяжелый стул и деревянная тумбочка, вручила ключ и ушла, поскрипывая рассохшимися половицами в коридоре.

Комната была недавно отремонтирована: две стены ее так блестели масляной краской, что в них даже сейчас, в полутьме, отражалась свисавшая с потолка на длинном шнуре электрическая лампочка. Третью стену занимала диктовая, крашенная синей краской дверь, четвертую — окно. Оно выходило в густые заросли сирени, под которой в пыльных ямках даже ночью копошились куры.

Удивительная была в этом городке сирень! Белые, розовые, фиолетовые гроздья пластались по стенам кирпичных домов на сухих ветках, похожих на виноградные лозы, свисали над воротами и изгородями, подобно гроздьям рябины.

Сирень у его окна обладала к тому же одним, явно колдовским свойством: когда в комнате горел свет, она выглядела как густая завеса из крепких, лакированных листьев, наводящих на мысль о великой жизненной силе сухой, песчаной земли, на которой раскинул свои дома городок и которую Сергей с товарищами бурил второй год в поисках питьевой воды. Но, когда свет не зажигался и к окну подступала ночь, листья сирени исчезали, словно растворялись в жаркой и прозрачной темноте, и тогда сквозь их завесу хорошо были видны разноцветные квадраты окон двухэтажного дома, стоящего на той стороне площади, и совсем далеко над ним проплывающие сигнальные огни самолетов.

Все это: и свою комнату, похожую на пароходную каюту, и сирень, то открывающую, то закрывающую мир,— он описал вечером в своем походном дневнике, куда заносил наблюдения и приходившие ему мысли. «В наш век атома и кибернетики,— говорил как-то у костра Михеич, в прошлом учитель математики, бросивший ее во имя беспокойной жизни изыскателя,— все надо наблюдать и анализировать. Запишешь, как запрограммируешь, а мозг — кибернетическая машина — сработает и, когда надо, выдаст...»

Первую свою запись он сделал вечером, а утром к нему в комнату, осторожно постучав, вошла невысокая, полная девушка в цветной легкой косынке и галошах на босу ногу. В губах она держала крохотную веточку белой сирени. Не взглянув на лежащего на кровати Новикова, она начала подметать пол, собирая седую пыльцу в широкий совок. Затем поправила салфетку на тумбочке и, вынув из губ веточку, спросила:

— Как питаться будешь?

Новиков поправил очки и усмехнулся.

— Этот вопрос, миледи, и меня интересует.

— До чайной дойдешь?

— Это смотря сколько туда костылять.

Девушка недовольно сдвинула брови.

— А зачем на одеяло в сандалиях влез?

Новиков поспешно сбросил с кровати здоровую ногу, сел и пятерней пригладил волосы. Девушка терпеливо ждала, зажав под мышкой веник. Черная сатиновая спецовка, надетая поверх желтой майки, короткая цветная юбка, открывавшая круглые, девичьи колени, почему-то напомнили Новикову какой-то пышный цветок, который он видел сегодня на клумбе перед крыльцом.

— Ты, собственно, кто будешь?

— Дежурная.

— Дежурная — старая и седая.

— То тетя Паша — ночная дежурная. А я дневная. Ночью мне не разрешают дежурить. Приезжие разные бывают...

Новиков хмыкнул и потянулся за костылем.

— Сиди уж! — остановила его дежурная, отворотив рукав спецовки и поглядев на часики.— В двенадцать будем обедать...

— Это как же?

— Сварится картошка — принесу.

В полдень она постучалась, плечом открыла дверь и внесла кастрюлю, поверх которой стояли тарелки.

— Садись! — пригласила она, застилая газетой тумбочку. Новиков, улыбаясь, смотрел на девушку, отметив про себя, что на ней теперь были хромовые сапожки с чуть отогнутыми на полных икрах голенищами, клеенчатый фартук; волосы, соломенно блестевшие, аккуратно зачесаны за уши.

— Как тебя зовут?

— Валя.

— Очень приятно, миледи!

Он пожал ее покорную руку, почувствовал, как легко, наверное, ему будет жить, пока рядом с ним будет эта добрая девчонка.

Он уже встречал их на своем пути: такой была коллектор в его первой экспедиции — коренастая, немногословная сибирячка Ольга, а после буфетчица центральной базы Любочка — тоненькая, с большими голубыми глазами москвичка, увезенная за Байкал каким-то золотоискателем и брошенная им. Обе они были до самозабвения внимательны к ребятам: обстирывали их, кормили, где-то занимали нужные им деньги, были в курсе всех событий их личной жизни и не признавали только одного — ребячьих рук и нежных объяснений. Новиков называл их «хорошими парнями», оберегал от неудобств совместной походной жизни и неожиданно для самого себя чуть было не сорвался.

РАССКАЗ



ЧУЖ

Глаза у Любы оказались глубокими, очень голубыми, и он начал слишком много об этом думать. С обостренным любопытством прислушивался он теперь к разговорам, которые вели о ней ребята, разговорам, за которые он раньше набил бы любому морду, а теперь слушал с мучительным желанием слушать как можно больше: и о том, как она бежала из Москвы, и что теперь с ней вполне возможно крутить любовь. «Сопляки,— вмешался как-то в разговор оказавшийся рядом Михеич.— Много, я вижу, вы разумеете! На таких жениться надо. Лучших жен не найдете!»

Эти слова Новиков тоже записал в свой дневник и, когда перелистывал его, часто останавливался на этой записи, всякий раз поражаясь неуловимому и все-таки точному смыслу. И сейчас, обжигаясь горячей картошкой и поглядывая на Валю, он думал об этом же: своей хозяйственностью, добротой, даже своими веснушками она вполне подходит к понятию «хороший парень».

И действительно, между ними установились те спокойные, ровные и дружеские отношения, которые Новиков, еще никогда по-настоящему не любивший, считал единственно правильными и возможными. Валя разобрала его засаленный, начавший уже плесневеть рюкзак, выстирала и заштопала бельишко, а по вечерам, до сдачи смены, выходила с ним посидеть на крыльцо. Новиков узнал, что она сирота, росла у брата на дальнем степном хуторе, а сейчас живет у сестры-учительницы; временно, до осени, устроилась дежурной в Дом колхозника, а основное — готовится к экзамену в медицинский институт. Новиков затребовал от нее учебники по физике и химии, и, когда на дежурстве все было спокойно, занимался с ней по своей системе «запоминай главное». Память у Валентины была завидной, помнила она чуть ли не каждую строчку, и Новиков был уверен, что если только не оробеет перед комиссией, то в институт пройдет наверняка.

— А в ваших экспедициях врачи бывают? — спросила она, положив на колени раскрытый учебник.

В доме напротив зажигались окна, с клумбы тянуло запахом ночной фиалки.

— В штатах редко,— рассеянно отозвался Новиков, протирая очки.— Видимо, мало пока врачей!

— Да, я понимаю. — Валентина согласно кивнула.— А они все делают, что и вы?..

— Не совсем то...

— Нет, я понимаю... Но они вместе с вами едут в машинах, плывут на пароходах, ходят в тайгу...

— В этом отношении — да. Здесь все равны.

Валентина отложила учебник, обхватила руками колени и тихонько закачалась.

— Если бы ты только знал,—с неожиданной тоской сказала она,— как я ненавижу поезда. Да, да,— повторила она упрямо,— и поезда и нашу станцийку. Люди бегут, прощаются, на что-то надеются. Стоят в окнах, и лица у них уже другие, нездешние. А тронутся вагоны — горло перехватывает...

Она уткнулась головой в колени и минуту молчала. Где-то стороной прошел самолет, и гул его, затихая, будто родил совсем близко, на окраине городка, девичью песню. Валентина подняла голову, повернулась к Новикову, внимательно его рассматривая.

— Когда я буду врачом, ты поможешь мне работать в вашей экспедиции?

— Если от меня будет зависеть...

— Нет, я взаправду...—Она еще что-то хотела сказать, но заскрипела калитка, и из темноты появилась квадратная фигура тети Паши.

Через несколько дней, это было в начале второй недели, Новиков поскользнулся около умывальника на мокром полу, всей тяжестью ступил на больную ногу и потерял сознание. Очнулся на своей пахнущей керосином кровати. Около него сидел знакомый врач, сестра с каким-то лошадиным шприцем, у дверей стояла испуганная Валентина.

— Допрыгался? — спросил врач, смотря на часы и сжимая Новикову запястье.— Еще случится, не приеду. Сказано — лежать, значит — лежать... Костыль у него забрать! — приказал он, поднимаясь.

Проводив их испуганным взглядом, Валентина осторожно, как до нее это делала сестра в белом халате, подошла к Новикову и неожиданно опустилась на колени.

— Больно было, да?.. — спросила она, поглаживая его обнаженную для укола руку.— А я слышу: бак с водой покатился. Что, думаю, такое? Выбегаю из дежурки, а ты на полу... Теперь я тебя никуда не пущу... Все сама сделаю, и ты не стесняйся, Серёженька...

Новиков лежал на спине с закрытыми глазами, злой оттого, что так нелепо все произошло, что теперь снова придется валяться неизвестно сколько времени, и почти не слушал, что говорила Валентина. Но постепенно прикосновение ее рук, волос, ее дыхание, которое он ощущал у самых губ, заставили прислушаться к ее словам. Полный благодарности, он нащупал ее руку и осторожно пожал ее.

— Спасибо, Валя!

Она притихла, отобрала свою руку и поднялась. Во всех ее движениях он неожиданно почувствовал какую-то отчужденность и встревоженно открыл глаза. Валентина подобрала с пола кусочек ваты, поставила на место, в угол, табуретку и, сгорбившись, вышла из комнаты.

«Что она? — подумал Новиков.— Я ничего глупого не сказал?»

Но когда в обед Валентина принесла кастрюлю и начала раскладывать на тумбочке вилки-ложки, Новиков, неожиданно для самого себя, повинуясь какому-то чувству свершенной им несправедливости, привлек ее к себе и осторожно поцеловал. Он ожидал, что она рассердится, но в ее покорности было что-то само собой разумеющееся. Она даже усмехнулась и, наливая в тарелку огненный, с перцем, борщ, сказала:

— Придумал же... Спасибо...

— Извини...— покорно согласился Новиков, обжигаясь борщом. Он был рад, что все обошлось, что не надо копаться в каких-то тонкостях ощущения и мир между ними восстановлен.

С этого дня в поведении Валентины наступил незримый перелом. У нее появилась пугающая Новикова уверенность в своих действиях, словно она открыла в себе что-то такое, чего не было у него. Однажды он услышал, как Валентина, сдавая смену, сказала ночной дежурной: «Вы, тетя Паша, за моим доглядайте. Что нужно, подайте, я все приготовила...»

В комнату Сергея она входила теперь без стука. Если Сергей спал или лежал с закрытыми глазами и, сдерживая улыбку, наблюдал за ней из-под прикрытых век, Валентина на цыпочках подходила к кровати и, нагнувшись, целовала его в лоб. Сергей заметил, что всякий раз при этом она, скосив глаза, поправляла на тумбочке салфетку или пробовала пальцем запылившийся подоконник.

Завтрак она приносила из дома. Теплые пышки с маслом, пучки редиски, холодную, из погреба, сметану.

— Знаешь,— спросила она, с умилением наблюдая за тем, как он ест,— кто тебе это присылает?

— Кто? — искренне удивился он, поправляя очки.

— Сестра.

— Почему сестра?

— Потому что она очень меня любит.

— А откуда она меня знает?

— Я ей рассказала все, что промеж нас было.

— Промеж нас? — повторил Новиков.— А что же промеж нас было? — повторил он еще раз и усмехнулся, вытирая ладонью рот. Все еще улыбаясь, он посмотрел на Валентину и понял, что повторять ее слов ему бы не следовало.

Она стояла в двух шагах от тумбочки и смотрела поверх его головы невидящим, растерянным взглядом. Сергей даже оглянулся, подумав, что она увидела на стене что-то неожиданное, а затем рывком потянулся к ней.

— Не надо! — Она отстранила его руку и начала собирать посуду.

— Ну погоди, Валя.— Он приподнялся, ухватившись за спинку кровати, но она отошла, снова попросила:

— Не надо, Сережа...

Прижав к груди тарелки, она вышла из комнаты, и половицы в коридоре заскрипели под ее шагами, как всегда скрипели, когда по дому ходила ночная дежурная, тетя Паша.

— А-а, дурак! — постучал себя по лбу Сергей, дотянулся до подоконника, распахнул створки окна.

День начинался жаркий и душный. В корнях сирени копошились куры. Сквозь завесу обмякших листьев он видел колодец с потрескавшимся барабаном и натертыми до блеска ручками, редкий частокол забора, за которым, вздымая долго не оседавшую пыль, проносились автомашины.

Новикову стало скучно и жалко себя. Где-то далеко от него, в солончаковой степи, ходят ребята, ставят буровые, отыскивая в холодных глубинах границы подземного озера, проверяют пробы, по ночам у костра рассказывают байки. А он, позабытый ими, сам не зная как, попал в историю и уже должен нести какую-то ответственность и думать о том, о чем не хотел и не предполагал думать.

Он взял свой дневник, лежавший под смятой подушкой, и лениво перелистал страницы. «Подозревать человека в дурном — значит подсказывать ему дурное», — прочел он, пытаясь вспомнить, где он сделал эту запись: у костра ли, в вагоне? И кто сказал эти слова, он не мог вспомнить. Да и нужно ли вспоминать? Важно, что сейчас она ему ничего не подсказывала; ни в чем дурном он Валентину не подозревал: просто сглупил и, видимо, обидел.

Новиков еще полистал страницы и в эту минуту увидел Валентину. Она шла к колодцу с двумя ведрами, и по тому, что одно из них было чистое, а в другом виднелись тряпки, он понял, что она мыла полы. Она шла босая, в короткой юбочке и желтой майке, плотно облегавшей ее спину. И то, что он впервые увидел ее в таком домашнем виде, без черной спецовки и теперь как бы открытой для него полностью, и то, что сидел он тайно в своем укрытии, заставило его смотреть на нее с новым, вол-

ОЕ ОКНО

Илья КОТЕНКО

Рисунки А. ЛУРЬЕ.

пующим чувством, в котором было и любопытство и жажда увидеть то, чего раньше он не замечал.

Она зацепила крючком чистое ведро, сильно крутнула барабан, и он покорно загрохотал, разматывая веревку. Затем она заглянула в колодец, взялась за ручку и, наваливаясь на нее, стала тащить ведро. И всякий раз, когда она, подаваясь вперед, наклонялась, он видел, как высоко приоткрывались сзади ее загорелые, сильные ноги.

В двенадцать часов Валентина, как всегда без стука, вошла в его комнату, неся перед собой кастрюлю. Новиков к тому времени задремал и сейчас, приподняв голову, с какой-то шевельнувшейся тревогой наблюдал за ней. Она еще никогда в таком виде не приходила к нему — босая, встрепанная. Лицо ее было сосредоточенным, строгим и в то же время отчаянным. Она торопливо поставила кастрюлю, закрыла створки окна, затем вернулась к двери, набросила крючок и, словно ничего не видя, пошла к Сергею. Стукнувшись коленями о край кровати, она нагнулась, требовательно подтолкнула Сергея, прося поосвободить место, и торопливо, вся подобравшись, легла рядом.

— Не сердись на меня,— попросила она.— Я еще дура...

Сергей, близоруко щурясь, скосив глаза, видел у своего плеча ее уткнувшуюся в подушку голову, беспомощную прядку волос у багряно горевшего маленького уха и, чувствуя, как сохнет в горле от нежности, благодарности и приязни к этому совсем еще недавно незнакомому человеку, боясь пошевелиться, прошептал:

— Это я, Валя... перед тобой...

— Нет, нет,— тотчас отозвалась Валентина и еще сильнее прижалась к нему. Она лежала неподвижно, чуть вздрагивая и с трудом сдерживая эту дрожь.— Пойми, что у меня никого нет дороже сестры и тебя.— Она помолчала, словно прислушиваясь к своим словам, затем поправилась: — Тебя и сестры...

«А что? — думал Сергей, все еще боясь пошевелиться.— Кто еще мне в жизни нужен? Со мной она разделит все тяготы, все трудности. И хорошо, что на врача идет, они везде нужны». Он вспомнил Михеича и его слова: «На таких жениться надо!» — и ему стало спокойно, будто он нашел то, что ему надо было найти. А с любовью, так кто знает, что это такое? «Может, то, что я сейчас думаю и решаю, и есть настоящая любовь?!»

Он вспомнил, как вчера поздно вечером наблюдал за окнами противоположного дома. Живут, едят, курят, песни поют. Кто поймет, кто и как из них любит, да и все ли любят? Правда, в одном из окон второго этажа он заметил девушку, которая чем-то тронула его воображение. Залитая розовым светом абажура, она показалась ему прекрасной и, может, потому нереальной.

— Что же ты молчишь, Сережа? — все еще вздрагивая и чуть приподняв голову, спросила Валентина. Сергей одним рывком сел на кровати, взъерошил волосы и тронул Валентину, приглашая ее сесть.

— Ладно, Валя... Я ведь тоже дурак.

— Что ты, Сережа!

— Словом, какой ни есть, а сделаем мы так: познакомишь меня с сестрой. Как только вернут мой костыль, похромаем к тебе домой — и познакомишь. Раз мы оба дураки, должны же найти умного... А теперь давай обедать...

Валентина сидела, прижав к груди кулачки, будто к чему-то прислушиваясь. На ее лице покачивались солнечные блики, пробившиеся в комнату сквозь листья сиреневых кустов.

— Мамочка моя!.. — протянула она наконец счастливо, затем вскочила, одергивая юбку, схватилась за кастрюлю.— Сейчас, Сереженька! Я ведь и ложки не взяла...

Она выбежала, шлепая босыми ногами по чистым половицам, и вскоре вернулась приодетая: в туфельках, отутюженной ковбойке. Волосы ее были гладко причесаны, и на повзрослевшем как-то сразу лице таилось озабоченное, деловое беспокойство. Они ели не глядя друг на друга, как будто это было для них сейчас самым главным. И только когда Сергей возвращал ей пустую тарелку, она неожиданно крепко схватила его руку и, склонившись, прижалась к ней щекой.

— Ты что? — забормотал Сергей, вырывая руку.— Не надо.

Но Валентина прижималась к ней то одной, то другой щекой, упрямо твердила:

— Нет, надо... Надо... И спасибо тебе...

— За что? — искренне удивился Новиков.

— За все... И за сестру тоже...

— Брось ты, пожалуйста...

— Нет, нет... Ты вот не понимаешь. У меня сегодня очень счастливый день. Мне все говорили: и тетя Паша, и сестра, и все женщины: «Смотри, оглядывайся,— мужикам бы только свое взять!» А я не верю, не могу в это верить... Как же так может получиться: вокруг такое происходит, строят, открывают. Неужели только в этом все по-старому должно быть? А ты вот... Я тебя без года неделю знаю, а вроде век ты со мною... и никого у меня... больше нету...

Она всхлипнула, прижала к губам конец косынки и выбежала из комнаты.

«Ну и ну!— думал Новиков, добравшись до подоконника и усаживаясь на него.— Очень уж серьезно все получается...»

Как всякий честный, но безвольный человек, он был отзывчив на чужое горе и чужую радость, если знал, что и горе и радость связаны с ним, но при этом никогда не думал ни о себе, ни о своих чувствах.

«Собственно, ничего особенного не произошло... Поговорим с сестрой, а там увидим, что выйдет!»

Всякий раз, когда он мечтал о той неизвестной и таинственной женщине, которая станет его женой, войдет с ним в один дом, он почему-то всегда видел затемненную комнату, письменный стол и на нем лампу с зеленым абажуром. Почему именно это зеленое пятно в полутьме крохотной комнаты связывалось у него с семейной жизнью, он не знал. Может, видел все это у женатых друзей, может, как у всех много путешествующих и, в общем-то, бездомных людей, эта лампа связывалась с семейным уютом?

Вечером, думая об этом, он смотрел на окна противоположного дома, различал розовые, красные, зеленые абажуры, глубины комнат и тени людей, то выраставшие до потолка, то уходящие в стороны, за шторы и занавески.

Неожиданно Новиков вздрогнул. В одном из окон второго этажа он снова увидел е е. Снизу до половины окно было закрыто занавеской, и над ней поднялись смуглые, гибкие руки. Они извивались, поднимая над собой платье, и, преодолев сопротивление, бросили его в сторону. Новиков на мгновение увидел женскую головку с собранными в узел волосами и снова руки, взмахнувшие полотенцем.

Новиков допрыгал до выключателя, потушил свет (лампочка и ее двойное отражение на стенах погасли не сразу) и вернулся на свое место.

Сирень за окном расступилась, стала прозрачной, посеребренной лунным светом, и легко открывала тайны степной, душной ночи. Кто-то шептался у калитки, в кустах беспокойно вскрикивала ночная птаха. На клумбе угадывались белые цветы, и дом на противоположной стороне со своими абажурами и мелькавшими тенями подвинулся ближе.

Дом уже начинал засыпать: окна, в которых еще горел свет, трижды мигнули — электростанция предупреждала о конце работы — и затем стали наливаться ярким, молочным светом, таким ослепительным и сильным, что казалось, еще мгновение — и лампочки лопнут. В эту секунду Новиков снова увидел девушку: она шла, открытая до пояса, накинув на плечо полотенце, и руками взбивала мокрые волосы.

Свет мигнул еще раз и стал быстро затухать; в этом окне, от которого Новиков не отрывал взгляда, под потолком остался



только красный огонек, словно фонарь уходящего поезда. Наконец исчез и он. Сергей сидел, вглядываясь в черный квадрат окна, наконец вздохнул, снял очки, вытер резко заболевшие глаза и перебрался на кровать.

А днем он опять сидел на подоконнике и, поглядывая через дорогу, думал о том, что пора бросать лодырничать и начать заниматься делом.

— Ты не болен, Сережа? — спросила на другой день Валентина, гремя тарелками. Она по-хозяйски приложила к его лбу мягкую, сильную ладошку. Новиков поморщился и отвел голову.

— Откуда ты взяла?

— И спать ты рано лег...

Новиков повернулся.

— А ты откуда знаешь?

Валентина горько покачала головой.

— Я о тебе все знаю... Недаром медицина говорит, что главное у человека — сердце...

Он схватил ее за руку, притянул к себе.

— Я серьезно спрашиваю: откуда ты знаешь, что я рано ложусь спать?

Она с покорной готовностью прильнула к нему и, тотчас почувствовав отчужденность, вскинула глаза, внимательно оглядывая его лицо.

— Чего же ты испугался? — спросила она.— Просто вчера шла домой, в калитке оглянулась, а у тебя уже темно.

Этот разговор заставил Сергея быть осторожным. Теперь он тушил свет только тогда, когда Валентина уходила из Дома колхозника. А когда убеждался в этом, чувствовал такое облегчение, такое чувство свободы охватывало каждую его клеточку, что он не в силах был сдержать улыбки, помальчишески подпрыгивая, тушил свет, усаживался на свое место на подоконнике и, улыбаясь, вглядывался в наплывающую на городок темноту, зная, что ни она, ни сирень не скроют от него окно на втором этаже.

Однажды ему показалось, что на стене той комнаты промелькнули две тени. И свет в окне, не успев разгореться, поспешно погас. «Она пришла с кем-то и, чтобы их не увидели, сразу потушила свет». Эта мысль, естественная во всех других случаях, была для него такой ошеломляюще страшной, что ему стало физически больно.

Он ненавидящим взглядом обвел свой «люкс» — в свете уличного фонаря хорошо видны были и кровать, и тумбочка, и даже стоящий на ней графин с водой. «И достаточно и хватит, зачем им больше света?» — скрипел он зубами, прыгая по комнате от стены к стене. Он принялся с такой яростью ее ругать, как никогда даже в мыслях не ругал ни одну женщину, подбирая самые хлесткие, самые обидные слова, жалея, что так мало их знает.

Эта с неожиданной силой вспыхнувшая в нем ненависть распространилась и на Валентину.

«Все вы одинаковые»,— думал он, оглядывая девушку, когда утром она появилась у него в комнате.

— Что с тобой, Сережа? — не выдержала она.

— А что со мной? — пожал он плечами.— И вообще, что тебе от меня надо?

Будь поопытней, она не обратила бы внимания на то, что с ним происходит, но она хотела ему помочь и этим вызывала еще большую неприязнь и раздражение. Сдерживая слезы, она вышла, опустив руки, будто несла ведра, полные воды, и с того дня стала раньше уходить домой.

А в комнате на втором этаже свет больше не зажигался. Зато раздвигались занавески, и белая фигурка усаживалась на подоконнике, будто давая Новикову возможность разговаривать с ней через площадь.

И он разговаривал. Он видел ее и себя в машине. Они сидят в кузове среди ящиков, тюков и рюкзаков. Позади винтом закручивается красная пыль. По сторонам мелькают скалы, сосны, а впереди дорога, неутомимо, самоотверженно бросающаяся под колеса, и берущая свое начало далеко впереди на лесных перевалах, и делающая сейчас все для того, чтобы доставить туда и ее, и его, и эту машину с экспедиционным багажом. «Любовь — это всегда дорога»,— подумал Новиков, не зная, свое ли это пришло к нему, или он уже где-то слышал, на всякий случай решив записать эти слова в дневник.

Потом он вводил ее за руку в огромный зал, осиянный светом, полный народу. Перед ними открылся занавес, и сияющий мир красок, музыки и движений на мгновение ослепляет их. (В этот момент на улице зажегся фонарь, покачиваясь под тарелкой.) И все, что было связано с н е й, всегда было наполнено легкостью, силой, счастьем, еще никогда не испытанным Новиковым.

Но однажды он увидел ее утром (кто-то с ветками оборвал верхушки сиреневых кустов). Она только на мгновение задержалась в раскрытом окне, но во всем ее облике ему вдруг почувствовалось что-то знакомое.

Где он мог ее видеть раньше? На станции или на улице в первый день приезда? Или, может, она приходила за чем-нибудь в Дом колхозника? Почему же тогда он не обратил на нее внимания? Как он мог не запомнить ее?

«Проклятая площадь, разве через нее разглядишь человека?» — думал он, всем своим существом понимая, что надо немедленно, сейчас перейти эту площадь. Новиков осторожно, придерживаясь за раму окна, сполз в кусты сирени, шепотом успокаивая кур, раздвинул ветви и оглядел открывшуюся справа и слева перспективу улицы. Он готов был двинуться дальше, если бы не Валентина. Она появилась на улице с двумя женщинами, простилась с ними у калитки и повернула во двор.

«Поднимает ее ни свет, ни заря! — сердито думал он, подтягиваясь на руках и перебрасывая больную ногу через подоконник.— Увидит, что меня нет, на весь свет тарарам поднимет».

Когда Валентина вошла в его «люкс», как всегда за последние дни притихшая и настороженная, он уже лежал на кровати и бодро поднял руку.

— Ну как, доктор? Готова к экзаменам?

Она вскинула глаза, видимо, не в силах понять: хорошо ли то, о чем он спрашивал, или плохо. В этом взгляде была и надежда и скрытое, настороженное недоверие.

— Что смотришь?

И тут он понял, что его так поразило сегодня утром в окне на втором этаже: какое-то желтое пятно в одежде. На Валентине была желтая майка. Знакомая трикотажная майка, в которой он видел ее у колодца, в которой она убирала комнату, мыла полы.

Он сел, все еще не зная, как совместить с реальностью свое подозрение, протер очки и, придерживая их двумя пальцами, оглядел Валентину: ее круглое, с ямочкой на подбородке лицо, настороженные девчоночьи глаза, цветную косынку, надвинутую на самые брови, черную, расстегнутую, с обвисшими, как у Михенча, карманами, спецовку, парусиновые стоптанные туфли —и все больше и больше боялся вернуться к мысли, которая только что пришла к нему.

— Где ты живешь, Валя? — спросил он после долгого молчания.

Она поставила в угол веник и совок и, стянув косынку, решительно встряхнула ею.

— Я тебе говорила... У сестры...

— А сестра где живет?

В ее всегда спокойных и добрых глазах неожиданно плеснулась такая ярость, что Сергей на секунду забыл, для чего он все это спрашивает.

— А зачем тебе сестра? К ней тебе ходить теперь нечего.

— Ну зачем ты так, Валя?

— А затем, что в тягость я никому не буду.

— Какая тягость?

— Обыкновенная... И вообще перескочь на свой подоконник, мне кровать убирать надо.

Новиков покорно похромал к своему месту, пожимая плечами, в то же время в глубине души понимая правоту ее гнева, и первое, что увидел,— распахнутое настежь окно на втором этаже. Несколько мгновений он всматривался, надеясь заметить в нем хотя бы какое-нибудь движение и прислушиваясь, как за его спиной сердито возилась Валентина, горько усмехнулся, чувствуя, всем сердцем понимая, что догадка его верна. «Пока рядом будет эта, я никогда не увижу той»,— всплыли неожиданные слова, поражая своей безысходной правдой и горечью. Он несколько раз повторил их про себя и даже подумал, что их стоит записать в дневник, и почему-то торопливо отогнал эту мысль.

Около калитки, окутываясь клубами пыли, остановился «газик». Еще никого не увидев из приезжих, Новиков почувствовал: это за ним. И действительно, цепляясь за дверцу, из машины вылез Михенч. Он отряхнул руки, полы пиджака, колени, поправил кепку и, пристукнув, как на морозе, сапогом о сапог, пошел по дорожке к крыльцу.

— За мной приехали, Валя! — сказал Новиков, оборачиваясь.

Она выпрямилась, держа перед собой совок, плечом поправила упавшие на ухо волосы и чуть кивнула головой.

— Хорошей дороги, Сережа!

Неожиданно ему стало обидно, что она так спокойно встретила это известие.

— Тебе все равно?

— Нет.

— Мы можем еще сюда вернуться...

— Хорошо. Я это передам сестре... Мне же что-то надо ей сказать, куда ты девался!

— Ты не сердись...

— Нет, Сережа... Я тебя всегда буду вспоминать с благодарностью.

Прислушавшись к разговору в коридоре и поскрипыванию половиц под тяжелыми шагами, Новиков заторопился, вытащил изпод кровати рюкзак и оглянулся вокруг, не зная, что собирать.

— Ладно.— Валентина потянулась к рюкзаку.— Сама соберу... Встречай гостя...

Когда захлопнулась дверца машины, Новиков поудобнее пристроил больную ногу и, откинувшись на спинку, облегченно вздохнул. Михенч, сгорбившись, сидел рядом с шофером и не выказывал никакого желания разговаривать. «Не одобряет»,— подумал Новиков, вспомнив, каким суровым взглядом он окинул при первой встрече и самого Новикова и Валентину.

Он нагнулся, вглядываясь в слюдяное окошко. На крыльце, держа под мышкой веник, стояла Валентина. В губах у нее была веточка сирени. «Как тогда, в самом начале,— подумал Новиков.— Все становится на свое место».

Машина тронулась. Справа прошел двухэтажный дом, открыв свою другую сторону: зеленый штакетник, пятнистый гриб во дворе, запыленные акации и развешенное между ними на веревках белье. Новиков перевалился влево, увидел кусты сирени, Дом колхозника под зеленой крышей. Он тоже открывался своей другой стороной: пристроенные к нему сараи, огород с разросшимися кустами картофеля, затем снова пошли заросли сирени. Она, как дикий виноград, вилась по стенам домов, свисала над заборами и свечками стояла вдоль дороги.

«Надо было взять одну веточку и положить в дневник вместо записи, — подумал Новиков, и неожиданная тоска, словно живой рукой, сдавила горло. — Что же я делаю? От кого уезжаю?»

— Остановите! — попросил он, не узнавая своего голоса.— Я сойду!

— Я тебе сойду! — тотчас отозвался Михенч, поворачиваясь на заскрипевшем сиденье. — Козел блудливый...

— Мне нужно узнать...

— Ты у себя спрашивай... Вымахал с вышку, а разум в семечку! — Он сердито отвернулся.— Походишь по земле, а потом решай: возвращаться тебе или нет?

Новиков закрыл глаза, жадно втягивая в себя врывающийся в машину жаркий степной ветер, и думал об одном и том же: «Что же оно такое — любовь? И знает он ее или нет?!»



Воспойте Отчизны разбег!

Юстас Палецкис, один из ведущих литовских поэтов, так охарактеризовал свое творчество: «Когда среди писателей однажды зашла речь о моем стихотворчестве, я высказался о себе, как о поэте в политике и политике в поэзии — так иногда получалось на жизненном пути».

Путь поэта — это путь народа. Первые стихи Палецкиса были опубликованы в газете литовских коммунистов «Борьба рабочих». События революционных лет в Литве нашли отражение в стихах «Вильнюс в декабре 1918 года», «У могилы расстрелянных коммунистов» и «Накануне Советской Литвы» — в одном из лучших стихотворений поэта, написанном в концлагере Димитрава, куда Палецкис был заключен за выступление против правительства Сметоны в октябре 1939 года. А новая творческая волна была связана с приходом в Литву Советской власти.

Этот плодотворный период поэтической и политической деятельности — в 1940 году Палецкис возглавил народное правительство Литвы — был нарушен второй мировой войной. И на этот раз Юстас Палецкис — в первых рядах борцов с фашистскими захватчиками. Его страстные агитационные стихи призывают к беспощадной борьбе.

Вера в победу, в освобождение не покидала поэта и в период оккупации Литвы. Уже в 1943 году в стихотворении «Железной лавиной с Волги...» Палецкис писал: «Ударит упругая сталь о кремень и высечет искры салюта».

После победы Юстас Палецкис вновь на государственном посту. Ему приходится много ездить. Светло и ярко отражаются в его стихах и реки Кавказа, и небо Молдавии, и сады Украины:

У Немана и у Днепра
источники одни,
и Украины песнь близка
литовцам искони.

Единство многонациональной советской семьи, радость за всю нашу необъятную страну ярко запечатлены в цикле «В семье советской, светлой».

Есть у Юстаса Палецкиса интересные стихи, посвященные Владимиру Маяковскому. В этих стихах есть такие строчки:

Звонкой дорогой,
ведущей к заоблачным высям,
мне представляется
лестница Ваших стихов.

Так может сказать только поэт, который сам возводит подобную лестницу. Утверждение идей коммунизма, свободы и равенства — вот идеалы поэзии Юстаса Палецкиса.

П. ВЕГИН

Ю. Палецкис. На жизненном пути. Вильнюс. 1964.

СВИДЕТЕЛЬ ЮНЫХ ДУМ

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В двадцати с небольшим километрах на юго-восток от Ленинграда, на приземистой возвышенности, встающей над прибалтийскими низинами, раскинулся уютный, тенистый городок, бывший когда-то императорской резиденцией и носивший пышное имя Царское Село. Ныне это город Пушкин, и подлинная душа его живет не в воспоминаниях о дворцовых парадах и показной роскоши елизаветинских и екатерининских времен, а в том, что суждено было этому маленькому городу стать пантеоном русской поэзии, вечно цветущим ее садом.

Здесь прошла лицейская юность Пушкина, здесь были для него «новы все впечатленья бытия» и слагались первые его стихи. Бронзовый юноша-мечтатель, создание скульптора Р. Р. Баха, сидит в небрежно распахнутом лицейском мундирчике на чугунной парковой скамье и с высоты пьедестала смотрит на играющую вокруг детвору. Памятник давно уже стал символом города, его вечно живой душой, а любая прогулка в этих тенистых аллеях ведет по следу юношеских и зрелых вдохновений поэта. То в восторженных, то в задумчивых пушкинских строфах остались жить и Чесменская колонна посреди озера, увенчанная победным орлом, и обелиск Кагула, и триумфальные ворота, воздвигнутые в честь российских войск, возвращающихся из побежденного Парижа! И «аллеи древних лип», где белеет мрамор богов и богинь «близ вод, сиявших в тишине».

В этих парках дряхлеющий Державин любовался золотыми куполами и кариатидами «Фелицина чертога», Карамзин писал страницы «Истории государства российского», Жуковский, меланхолически бродя вдоль зеркального озера, бросал крошки бисквитов подплывающим белоснежным лебедям. В звонких ямбах воспел Вяземский царскосельские сады, отороченные зимним убором. В часы тоскливого офицерского дежурства Лермонтов смотрел на эти липы и клены из окна казармы гусарского полка. Покрыв клетчатым пледом зябнущие плечи, опираясь на трость, Тютчев совершал ежедневную прогулку в этих аллеях, размышляя о судьбах России и Европы.

Были верны очарованию пушкинских парков и поэты более позднего времени. Наследуя многое от вдохновения славных предшественников, они не раз возвращались к бронзовому мечтателю в лицейском садике и к «Девушке с разбитым кувшином». Иннокентий Анненский особенно любил осенние пейзажи садов поэта, когда стынут темные воды прудов и бассейнов и «в доцветании аллей дрожат зигзаги листопада». Анна Ахматова с присущей ей точностью и четкостью стиха воссоздает уголок осеннего парка:

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины...

Со всех сторон окружают город Пушкина прекрасные парки — Екатерининский, Александровский, Баболовский и Отдельный. Екатерининский разбит во французской манере XVIII века, прочерчен геометрически правильным узором дорожек, парадно украшен затейливыми павильонами, бронзовыми или мраморными статуями. Природа здесь укрощена властной прихотью самодержавного вкуса, указавшего ей правила поведения. Александровский парк гораздо проще. Он создан во вкусе английских садоводов, когда природу воспринимали с оттенком чувствительного романтизма, впрочем, в пристойных рамках ласкающей глаз красивости. Все же вольно разбегаются здесь по лужайкам крепкорукие дубы, неразговорчивые вязы, легкие в осанке клены, а кое-где просвечивает среди них тусклое серебро невысоких болотных берез. Почти нет статуй, немногие павильоны в духе доморощенной готики тяжеловесны и солидны. Чаще всего это искусственные руины рыцарских замков — дань романтизму начала XIX века. Баболовский парк еще глуше. Он рос без хозяйского глаза, по своей вольной воле, и в нем не расчетливо проложенные дорожки, а просто малозаметные тропинки, уводящие в лесную глушь. Здесь можно рвать цветы, собирать грибы, и гул городской жизни совсем не долетает в эти места. А Отдельный парк нельзя даже и назвать парком. Он естественное продолжение одной из тенистых улиц, переходящей в зеленое приволье солнечных рощиц и приветливых лужаек. Через полтора-два километра смыкается он с густою листвой холмистого Павловска.

Пушкинские парки живут своей жизнью, провожая и встречая смены года, вторгаясь лесными запахами в мирную жизнь своего городка.

В разгаре погожей осени они радуют яркой и пестрой раскраской не столь уж привычных для ленинградского климата дубов и вязов. С наступлением осенних холодов понемногу пустеют их аллеи. Желтые кленовые листья плавают в стылой воде каменных чаш и овальных бассейнов. Крепким, отстоенным запахом сырой опавшей листвы наполнен воздух. В настороженной тишине разносится стук молотков и захлебывающийся свист пилы. Это заколачивают в стоячие деревянные гробы зябнущие мраморные тела Диан и Ниобей. Начинает моросить неторопливый северный дождик...

Город Пушкина переживал и тяжелые времена. Удушливым летом сорок первого года на него обрушилась черная беда. Около трех лет задыхался он в неволе, разоренный, разграбленный, сожженный. Перед самым вторжением врага, увозя все, что можно было увезти, музейные работники с помощью горожан сняли с пьедестала бронзового Пушкина и закопали его в надежном месте. Когда наши войска освободили город, они позаботились и о том, чтобы вернуть того, кто был добрым гением его садов и парков.

Мы копали бережно, не скоро —
Только грудь дышала горячо.
Вот он! Под лопатою сапера
Показалось смуглое плечо,
Голова с веселыми кудрями,
Светлый лоб — и по сердцам людским,
Словно солнце, пробежало пламя —
Пушкин встал — и жив и невредим!

Так и живет он сейчас на своей чугунной скамье в садике возле Лицея, и, как в прежние, мирные времена, кружатся над ним желтые и алые листья. Любит этого задумчивого вечного юношу наша молодежь. Редко кто не положит к его подножию цветы, сорванные в парках, или просто несколько веток с бледно-желтой или ярко-багряной листвой.

Городу, взрастившему поэта, возвращена его душа, дыхание жизни. Парки — по-прежнему любимое место отдыха ленинградцев, да и не только ленинградцев. Летом в тени вековых деревьев слышны молодежные песни и тихие переборы студенческой гитары. А в осенней тишине медленных и уже свежеющих закатов, в шуршании золотого листопада широко пламенеют парки всеми оттенками бледно-розовой, ярко-желтой и багряной листвы.

Это лучшая пора для неторопливых, созерцательных прогулок. Город отечественных муз, пленительного зодчества и памятников русской воинской славы широко и вольно дышит свежим воздухом мирно догорающей осени.

Поэта старый парк, в твоей красе осенней
Мы сберегли тебя для новых поколений,
Чтоб, раны залечив, ты стал еще пышней,
Свидетель юных дум и творческих ночей,
Чтоб мудрой старости и юности беспечной
Всегда ты близок был и, возрождаясь вечно,
Овеян славою и дымом боевым,
Как юность Пушкина, сиял, непобедим!

ОСЕНЬЮ В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ПАРКЕ
город Пушкин

Фото Н. Ананьева.

...Я скромно возлюбил живую тишину
И, чуждый призраку блистательныя славы,
Вам, Царского Села прекрасные дубравы,
Отныне посвятил, безвестной музы друг,
И песни мирные и сладостный досуг.

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...



О. Кипренский. ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА ФИЛИСОВА.

ДИВНЫЙ ОРЕСТ

К 100-летию Отечественной войны 1812 года в Москве, в Историческом музее, была организована большая выставка. В зале героев висели рядом портреты двоюродных братьев Павла и Александра Филисовых. Павел Филисов — суворовский генерал, ветеран Сен-Готарда, награжден серебряной медалью Отечественной войны. Александр Филисов — ополченец, опальный майор, уволенный в отставку после убийства Павла I. В каталоге выставки значилось, что обе вещи — собственность Зографа.

И действительно, портреты находились в квартире известного профессора зоологии Н. Ю. Зографа в Политехническом музее. Ученый умер. Громадную библиотеку, картины, бумаги свалили в подвал, который впоследствии затопило.

Но портреты не попали туда. Сын Н. Ю. Зографа, профессор нумизматики А. Н. Зограф, с детства увлекавшийся историей и живописью, взял реликвии с собой, переезжая в Ленинград.

Здесь их недавно и разыскала правнучка героев, актриса Елена Дулова.

Но в каком виде!.. Холсты покрывал густой слой липкого, расплывшегося лака, грязи и копоти. Небрежное обращение и блокада не помиловали их. Тут и потеки, оставленные водой с пробитой крыши; краска местами запеклась от раскаленной трубы времянки. Вот брызги белил — отметина послевоенного ремонта. Портрет генерала прорван...

И все же героев можно разглядеть.

У Александра Филисова широко открыты глаза. Кажется, он сдерживает улыбку. Сильная, с набрякшими венами рука. Фигуру облегает черный сюртук толстого сукна с бархатистым синим отливом. На отвороте муаровая лента и бронзовые медали. Одна, как позднее выяснилось, партизанская: «Не нам, не нам, а имени твоему», вторая: «За любовь к Отечеству».

Семейное предание гласит, что человек он был обходительный, простой.

Портрет Александра Филисова, воспроизведенный на вкладке, написан в 1814 году.

Реставратор Б. Шахов, который воскрешал Дрезденскую галерею, восстановил портреты. Щеки Александра Филисова порозовели. В каштановых вьющихся волосах, бакенбардах, ресницах проглядывает каждый волосок. Глаза посветлели. Над верхней губой проявился шрам от удара шпаги.

— Поздравляю! — сказал Шахов Елене Дуловой.— Комиссия Третьяковской галереи признала: кисть Ореста Кипренского!

Научный руководитель реставрационной мастерской А. Виннер подтвердил:

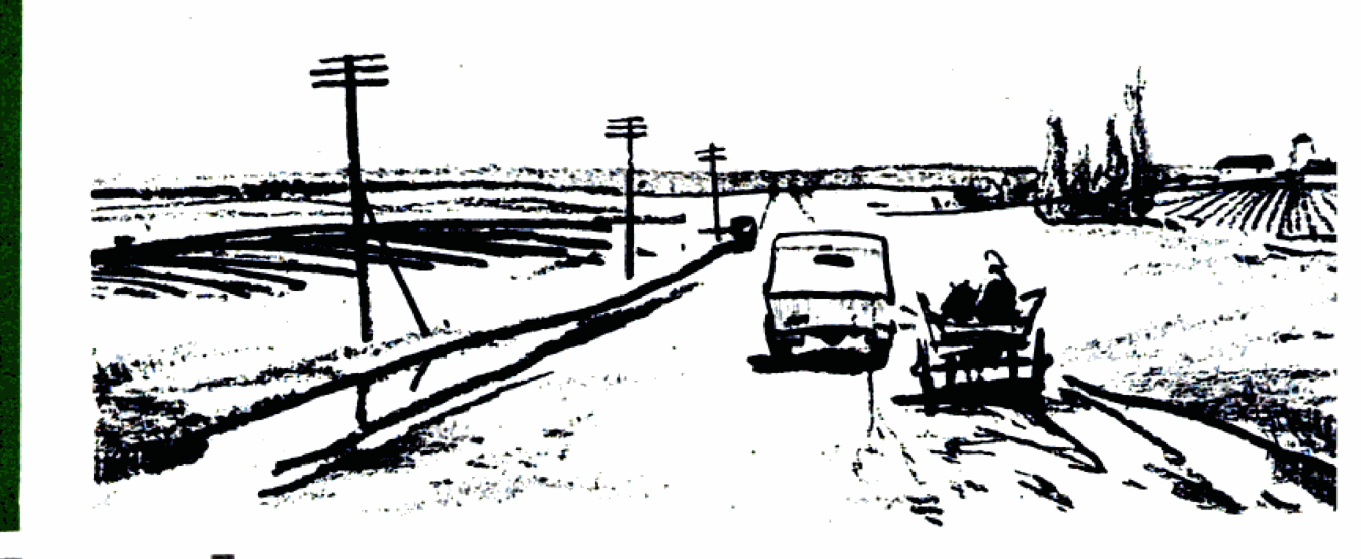
— Дивный Орест! Несомненно.

Характерно написанный жемчужно-серый грозовой фон; поза, разительно напоминающая позу Пушкина на портрете с лирой; романтическое воодушевление, присущее манере Кипренского...

У художника немало набросков и портретов героев-воинов, сделанных в 1812—1815 годах. Портрет Александра Филисова никогда прежде среди них не назывался. Находка обогатила наше представление о творчестве художника.

Второй портрет — генерала Павла Филисова — был сделан неизвестным мастером.

Михаил ИСКРИН



Не верь зеркалам

Инна ГОФФ

Рисунки В. БОГАТКИНА.

Повесть воспоминаний

Глава четвертая

Вера Межонок была самым оперативным корреспондентом в своей редакции. Ей ничего не стоило собраться в дорогу, отбросив будничные мелочи, которые сильней всяких цепей приковывают человека к месту. Легкость, с которой она передвигалась в пространстве, не изменила ей и теперь, в тридцать лет,— возраст, когда многие женщины прирастают к дому и словно превращаются в улиток.

Видно, было в ней что-то от Якима. Не только синие глаза и «клетка тела». Что-то очень важное, коренное, в самом ее характере, более удобном для мужчины,— шумном, порывистом, с постоянной потребностью в людях, друзьях, с жаждой каких-то новостей, перемен.

И сейчас, мчась в редакционном «газике» с новым заданием — взять интервью у бригадира комплексной бригады колхоза «Поля Кубани»,— она жадно вдыхала утренний воздух полей, сиявших по обе стороны шоссе, ведущего на Кропоткин.

Дорога! Опять дорога! Иногда ей кажется, что город, где она живет,— это огромный вокзал или аэропорт, а ее квартира — всего лишь зал ожидания...

По словам матери, Яким тоже был непоседа. Вера думала об отце с нежностью, непохожей на дочернюю,— как о брате. Отцом называла она другого. Тот, большой и добрый, носил ее на плече, дарил ей шоколад. Она легко назвала его папкой, хотя знала, что не он ее отец... Ей было тогда около семи лет.

Она назвала его папкой раньше, чем мать решилась назвать мужем. Он дарил ей шоколад и игрушки, в выходной день гулял с ней и матерью по улицам военного городка...

Пять лет он был ей отцом. До того страшного, суетного второго дня войны. В тот день она видела его в последний раз — он подсадил ее в кузов грузовика, набитого женщинами и детьми так, что, казалось, не сможет тронуться с места. Она торопливо поцеловала его небритое, осунувшееся лицо, каждый мускул которого странно подергивался.

Спустя полгода в сибирский город, где они с матерью жили, пришло извещение о том, что Шмелев Борис Петрович геройски пал в первые дни войны в бою под городом Слуцком.

Мать говорила, что она знает, в какой день и час он погиб. Ее разбудил ночью голос, звавший: «Анна! Анна!» Это был его голос. Она проснулась и долго не могла заснуть от непонятной тревоги...

«Газик» мчал мимо белых станичных домиков с разноцветными ставнями, мимо колхозных садов, где цветущие яблони стояли ровными шеренгами, как на параде. Промелькнула птицеферма,— в прошлом году Вера делала репортаж о двух комсомолках-птичницах, и сейчас в ее памяти так же стремительно промелькнули румяные, словно молоком умытые личики этих славных девочек, мечтающих о медицинском.

А «газик» уже летел дальше: шофер Володя любил ездить с ветерком. Кроме Веры и шофера, в машине были еще звукооператор Петя, скептик и молчун, со своей аппаратурой и спецкор из Москвы Кругликов. Спецкор жил здесь уже месяц. Он приехал, чтобы освещать в московских выпусках ход весеннего сева на Кубани. Это был маленький человечек, из тех, кто готов встать на цыпочки, чтобы выглядеть выше. Он говорил беспрерывно. Кажется, он хвастал. Он показал ей потрепанный блокнот

Продолжение. См. «Огонек» № 49.

с автографом космонавта Павла Поповича. Он сыпал именами известных людей — писателей, артистов, называя их запросто: Женя, Миша, Костя,— что позволяло предполагать, что он с ними близко знаком.

Осталась позади станица Васюринская со своей знаменитой чебуречной, которую не минует ни один шофер. Притормозил возле нее и Володя, но, взглянув на часы, решил не останавливаться: до Усть-Лабинской — цели их поездки — было еще далеко. И опять замелькали по дороге встречные линейки, брички, велосипеды. Миновали надпись на щите, знакомую Вере по прошлым поездкам: «Водитель! Останови машину и возьми детей». И скамеечка возле щита — здесь ребята ждут попутную машину, чтобы добраться до школы. Скамейка была пуста: занятия в школах уже начались. На полях под голубым небом нежно зеленела озимая пшеница «безостая-один» — гордость Кубани. Володя крутил баранку, виртуозно объезжая выбоины на шоссе. Иногда ему это не удавалось, и тогда, подпрыгивая на скамье, они почти доставали головами брезентовый верх...

«Почему-то мать редко вспоминает Бориса Петровича,— думала Вера, щурясь от солнца, бьющего в ветровое стекло.— Со мной она любит вспоминать только Якима. Конечно, Бориса Петровича я хорошо помню и так. Он дарил мне все, что мог,— шоколад, игрушки. Он спас мне жизнь, отправив в тыл на той, последней машине. Но подарил мне жизнь все же Яким, никто другой. И жизнь и этот цудовный характер, как говорят белорусы. Любопытно, какой будет Танька? Будет ли жить и в ней хоть частица Якима? Иногда я ее не понимаю. Не могу угадать, что она сделает или скажет. Так было у меня с матерью. Мать часто не понимала меня. Она не стремилась меня понять, а только вырастить, накормить, поставить на ноги. Она была строга со мной, слишком строга—от сознания своей ответственности. Когда я училась в восьмом классе, она пришла в школу. Она работала с утра до ночи, но для этого вырвала время. Пришла в школу, отыскала классного руководителя — старушку нашу, Зинаиду. «Ну, как моя Вера?» «Ничего, занимается неплохо». «А эта, чернявенькая, Люська,— она как?» Люська была моя подруга. «И Люся Зубкова прилично учится». Никто меня так не понимал, как Люська. Война давно кончилась, выросли мы, и наши дети выросли, но до сих пор для нас встреча — праздник, потому что редки на земле люди, которые так тебя понимают... «Ну, а как вообще Люська эта?» «Хорошая девочка». «Чует мое сердце: не доведет их дружба до добра». «Вас что-нибудь беспокоит?» «Хохочут много. Как соберутся вместе — и вот хохотать! А чего хохочут? Не знаю. Боюсь, не плохое ли что задумали. И замечаю, она, Люська, всему зачинщица...» Бедная мама! Как ты боялась дурных влияний! Боялась, не испортил бы кто твою Веру!..

Зинаида засмеялась: «Хохочут? Только и всего? Молодые, вот и хохочут. Ну и пусть хохочут себе на здоровье».

Люська стала доктором наук. Ее имя известно у нас в стране и за рубежом. Этот несчастный спецкор Кругликов, заговори о ней Вера, сразу назовет ее Люсей. Как будто это он, а не Вера, сидел с Люськой в холодной комнатушке, у остывшей печки, сочиняя частушки для школьного вечера. Будто это он, Кругликов, ездил с Люськой в колхоз копать картошку и ходил с ней в госпиталь к раненым, где Люська читала рассказ Чехова «Шуточка». Теперь и мать говорит: «Смотри, Люська не девка была, а тьфу! А каким человеком стала! Ну, не умница?»

Теперь мать ставит Люську в пример Вере. А Вера Межонок, говоря о Люське с посторонними, всегда называет ее по фамилии, чтобы не подумали, что она хочет встать на цыпочки.

Вдали уже выстроились в ряд белые домики Усть-Лабинской. Устьлабинцы обещали стране собрать по сорок центнеров пшеницы с гектара. И зачастили сюда представители из ближних и дальних областей, работники радио и печати.

«Газик» свернул с асфальтированного шоссе и выехал на полевую дорогу, ведущую в шестую бригаду колхоза «Поля Кубани». Красный флаг, поднятый на мачте, реял в синеве. Вера знала — флаг, поднятый над станом, означает, что все идет как положено: бригада работает, все тракторы на полях. Придется ждать до обеда, когда все соберутся, и можно будет записать репортаж. На стане действительно было пусто. Солнце жгло не по-апрельски. Под крышу дома, где сейчас, в дни посевной, жили трактористы, залетали ласточки, кружили под потолком и вылетали на волю. Тянуло дымом из кухни и пыльной свежестью с полей. Вера села в холодке, под яблоней,—их было две на стане. Над белыми, сладко пахнущими цветами густо вились пчелы, и все дерево от них гудело, как самолет перед взлетом. Ее охватило чувство покоя, которое всегда приходило к ней вместе с чувством свободы. Потому что нигде человек не свободен так, как в дороге... Димка не любит, когда она уезжает, говорит, что она всякий раз возвращается немножко чужой.

Она вынула свой блокнот, перелистала. Он был почти заполнен, а ведь служил ей всего неделю. Сколько поездок, встреч, людских судеб! Пусть в ее блокноте нет автографа Павла Поповича. Не в этом суть. Суть в том, чтобы поведать миру о незаметной доселе, но прекрасной судьбе. Сделать сто репортажей — это сто раз влюбиться, сто раз зажечься чьей-то мечтой, сто раз задуматься о жизни... Может быть, поэтому и приезжаешь домой немножко чужой, во всяком случае, новой...

Близился полдень. В красном уголке звукооператор Петя уже приготовился к записи. Стан оживал. Наконец появился тот, кого ждали,— бригадир шестой бригады Залужный, рослый мужчина с тяжеловатыми, красными от работы на ветру и недосыпания глазами. Первым завладел им Кругликов. Вопросы Кругликова были трафаретны, они вызывали такие же трафаретные ответы. Впрочем, орешек попался не из легких: бригада Залужного уже второй год держала знамя по району, и бригадир, герой многочисленных репортажей, в бумажку не глядел, но говорил как по-писаному.

Вера разглядывала плакат на стене красного уголка: «Могучее зернышко» — гигантский пшеничный колос, составленный из мешков. Каждое зерно — мешок.

Залужный кончил говорить, Петя включил воспроизведение. Заметно было, что бригадир слушает свою речь в записи с удовольствием. Голос Залужного звучал монотонно, чуть простуженно. Он рассказывал о том, что механизаторы шестой бригады ведут сев кукурузы, кончают свеклу. Он говорил «в эту вёсну», делая ударение на первом слоге, и эта единственная неправильность в записи тревожила Кругликова — Вера видела это по его бегающим глазам,— но поправить героя-бригадира он не решался.

Вера смотрела на бригадира, на его большие руки в солярке, въевшейся в трещинки, и думала: женат ли он, есть ли у него детишки? Наверно, есть. Двое. Или трое. Такие же белоголовые, мал мала... И жена-казачка, небось, красавица, в ушах — сережки-бубенчики... Какой он с ней? Такой же степенный, медлительный?.. А в ревности, должно быть, крут... Многое хотелось ей знать о человеке. О каждом. В этом и был секрет Веры Межонок, мастера «солнечных репортажей», как называли ее у них в редакции.



Глава пятая

Бабушка любит смотреть, как Танька ест. Подаст на стол, а сама сядет сбоку, подопрет голову и приговаривает:

— Моя ты рыбочка! Ешь, поправляйся... Ешчо налью. Ты ж растешь, тебе питаться надо как следует... Вон, лазиночка какая вытянулась! И куда твоя дорогая мамочка глядит? И чего эта, скажи, ее по свету мотает?

— Профессия такая,— говорит Танька.— Она же по делу ездит, а не так просто... Значит, послали.

— А где же ты обедаешь, когда бабушки нет?

— В школьном буфете...

— Моя ты рыбочка!

— У нас хороший буфет. Можно взять яйца крутые или сосиски с пюре. Только борщ невкусный. Я вместо борща лимонад беру. Два стакана.

— Так-так,— приговаривает бабушка, глядя на Таньку светлыми, непонятными глазами.— А батько где обедает?

— На заводе. Там у них столовая.

— Тоже лимонад пьет? И нравится ему такая жизнь, твоему батьке? Наверно, нравится. Другой бы давно вас кинул, и тебя и матку твою...

Танька внутри вся сжимается. Так и хочется сказать: «Это мы от папы уходим к тете Людмиле». Но Танька уже не маленькая. Она даже обиделась, когда мама, уезжая в Усть-Лабинскую, отозвала ее и сказала: «Если бабушка спросит, как мы с папой живем, скажи: «Хорошо». Мы ведь и в самом деле живем хорошо, правда?»

«Правда»,— сказала Танька. Она сердилась на нее за этот разговор. Неужели Танька такая дурочка — станет рассказывать бабушке!

«Только больше я к тете Людмиле не пойду,— строго сказала Танька маме.— Так и знай. Если захочешь опять убежать, беги одна. Я останусь с папой».

«Ладно,— сказала мама,— договорились...» Они друзья, а друзей не выдают.

— Мы живем хорошо,— говорит Танька, кладя ложку.— Не хуже людей.— Она где-то слышала это выражение, и оно ей понравилось.— Папа нас любит, и мы его тоже...

— Так-так,— приговаривает бабушка.— И не спорите никогда?

— Нет.

— Ну и слава богу!

Танька вырывается наконец на волю, во двор. Здесь солнце и ветер. Ах, какой ветер! Он пахнет морем. Если б не горы, Танька бы увидела море. Она глазастая. Но море скрыто за горами, и только ветер, перевалив через них, приносит сюда его солоноватый запах. Каждым листочком звенят на ветру тополя. Хлопают листы жести на крыше. Но всего интересней наблюдать за бельем, что сушится на веревке, протянутой через двор. Ветер раздувает детские платьица, как будто в танце. А рукава мужских рубах наливаются ветром, как мускулами... Вчера Сашка Петров из первого подъезда показывал ей свои мускулы, а она ему свои. Конечно, у Сашки мускулы больше. Во-первых, он в шестом классе, и, во-вторых, он мальчик. Кроме того, он занимается в спортивной школе, и ему ничего не стоит перевернуться на турнике подряд два раза. Турник во дворе есть. А рядом качели. Обычно они с Сашкой беседуют так: Сашка болтается на турнике, а Танька качается на качелях... И сейчас Танька раскачивается на качелях и поет на манер Робертино Лоретти:

— Шама-й-ка! Шама-а-а-йка!

Шамайка — это такая рыба. Есть рыбец и есть шамайка. К приезду бабушки папа достал шамайку, и мама его даже поцеловала за это.

— Шама-й-ка!— поет Танька, все выше подлетая на качелях.— Шама-а-а-йка!..

Хорошо, когда солнце и ветер! И море за

горами,— пусть даже его не видно. Главное — знать, что оно есть.

— Шама-й-ка!— поет Танька и поглядывает на Сашкины окна — он живет на третьем этаже.— Шама-а-айка!..

Сашка не заставляет себя ждать. Вот мелькает в окне за тонкой занавеской его курчавая голова, а спустя минуту Сашка выходит во двор. Он стоит у подъезда, насвистывая и спрятав руки в карманы, а потом ленивой походкой направляется к турнику.

— Привет!— говорит он и повисает на турнике.

— Привет,— отвечает Танька и раскачивается так, словно хочет достать до неба.

Они не виделись целых четыре дня. На Сашке новая голубая тенниска с белым воротником.

— Где пропадала?— спрашивает Сашка и выжимается на руках.

Руки у него уже успели загореть. Сашка быстро загорает. Летом он совсем черный. Танька раскачивается, придумывая, что бы соврать. Не скажешь ведь: «Мы уходили от папы».

— Я с мамой ездила. В командировку,— говорит она.

— Зачем?— спрашивает Сашка и опрокидывается вниз головой на вывернутых руках.

— Надо было,— говорит Танька, подлетая в небо.

Она думает, что бы такое сочинить, если Сашка станет расспрашивать. В командировках с мамой Танька действительно бывала, но давно — когда была маленькая. Мама уходила по делам, а Танька оставалась в приемных учреждений с красивыми секретаршами и в заводских проходных со стариками-вахтерами в телогрейках или гимнастерках, смотря по времени года. Секретарши рассказывали ей сказки, вахтеры делали кораблики из газетной бумаги. От секретарш хорошо пахло духами, от вахтеров — табаком. Вот и все Танькины воспоминания о ее ранних командировках. С тех пор, как Танька выросла, мама в командировки ее не берет.

— А еще мы встречали бабушку, из Минска,— говорит Танька.— Она у нас гостит. Сегодня мы с ней пойдем в парк...

— Старенькая бабушка?—интересуется Сашка, выворачиваясь на турнике.— Лет сто?

— Сам ты старенький!— возмущается Танька.— Вон погляди, она на балкон вышла...

Сашка выжимается на руках и разглядывает Танькину бабушку. Бабушка стоит на балконе, как на капитанском мостике. Прямая, высокая, с гордо поднятой головой и золотой косой, свернутой на затылке.

— Законная бабка!— оценивает Сашка.

— Она начальник цеха,— говорит Танька.— У себя на бисквитной фабрике.

— На бисквитной!— Сашка перебирает руками, передвигаясь на турнике от одного столба к другому и подергиваясь, как лягушка.— Вот, небось, поела за свою жизнь бисквитов!

— Она их не любит,— раскачиваясь, говорит Танька и машет бабушке.

Сашка выжимается на руках и ныряет вниз головой. Руки у Сашки худенькие, но сильные, тело легкое. Таньке приятно, что бабушка смотрит с балкона.

Потом, когда они обе принаряженные — бабушка в новом лиловом платье и шерстяном жакете, а Танька в белой кофточке и синей плиссированной юбке, из которой давно выросла,— шли к остановке троллейбуса, Танька все ждала, что бабушка спросит о Сашке, но бабушка молчала, только улыбалась, щуря на солнце серые глаза. Или говорила совсем не про то — про город, что ей здесь очень нравится, и про погоду — прямо лето: подумайте, в жакете жарко. В троллейбусе люди оглядывались на бабушкин белорусский говор, и Танька немножко стеснялась, пока какой-то дяденька не обратился к бабушке: «Вы, гражданочка, часом не из Беларуси? Я гавару, моя землячка!»

Дяденька говорил так же, как бабушка: «часом», «гавару». Они оба обрадовались и стали вспоминать свои края, бульбочку и липнячок, и все в троллейбусе слушали и смеялись. Наконец земляк сошел, чуть не проехав свою остановку, а вскоре и они с бабушкой вышли. Бабушка была веселая и все приговаривала:

— Ты подумай, земляка встретила! И как это люди со своей земли уезжают? Конечно, ты еще малая это все понять. Что для человека



значит родина... Ты с мое поживи на свете, испытай, сколько я испытала...

В парке пахло прелым прошлогодним листом и молодой травой. Каменные львы улыбались своим тайным мыслям. Доцветали, осыпаясь, кусты черемухи. Белый цвет ее ложился на воду небольшого пруда. В пруду плавали утки и лебеди, а по берегу на другой стороне разгуливали павлины. Вокруг пруда стояли скамейки. Они с бабушкой сели на одну из них и стали ждать, пока павлин распустит свой зеленый веер.

— Бабушка, тебе Сашка понравился?— спросила Танька.

— А что за Сашка?

— Ну, Сашка. Тот, что на турнике занимался. Ты же с балкона видела.

— Крутился там хулиган какой-то... Ты о них не думай, о хулиганах этих. Ты учись.

— Он не хулиган, бабушка.

— Все равно. Ты об этом не думай. Ты об уроках думай. Тебе ешчо рано думать про такие вешчи.

— Про какие, бабушка?

— Про хулиганов. Босяков этих. Сколько я их из дому гоняла, босяков этих, пока твоя мамочка выросла!

Бабушка только с виду строгая. А у самой глаза смеются, и лучики из глаз — веселые, озорные.

— Бабушка, расскажи про маму,— просит Танька.— Какая она была?

— Ой, внучушка, твоя мама таких мне коников выкидывала, что если все их рассказать...

Бабушка качает головой и смеется.

— Про войну расскажи,— просит Танька.— Как мама по вагонам ходила...

— Про войну?— говорит бабушка и замолкает.

Солнце светит ярко. Золотые блики на пруду качаются, плещут рыбками. Медленно, важно плавают лебеди — два белых и черный.

— Ну, посадили нас, значит, в машину — шестнадцать женщин с детьми, полный кузов. Второй день, как война идет, а тут граница. Шоферу велели, чтобы вез нас на Минск, на Могилевское шоссе, через Быхов. Едем, значит. А вокруг земля горит, пулеметы стреляют. Самолеты немецкие десантников бросают — в милицейской форме, новенькой, а наши их расстреливают, не дают на землю спуститься... И мы, командирские жены и дети, через этот ад едем. Две с нами молоденькие ехали, Марыйка и Раечка, бездетные. Повыкидали они чемоданы свои и в санитарки ушли. Я б и сама пошла. А на Веру свою гляну — не могу дитё одно кинуть. Было ей, как тебе сейчас... Да... Едем, значит, дальше. Навстречу военные. «Куда вы?» «На Могилев». «Горит Могилев. Вы на Быховский мост поспешайте, а то в мешке останетесь. Немцы кругом». Шофер посмотрел, что такое дело, и решил от нас утекать. Ну, бежать, одним словом... Тады одна женщина — комиссара полкового жена — достает наган — муж ей, догадался, дал с собой — и говорит шоферу: «Вези, а то застрелю». Испугался шофер, дальше повез, а мы его с тем наганом по очереди караулили...

А тут стали нас бомбить. Едем полем, деться нема куды. Як почнуть бомбить, машину кидаем — и в жито. Осколки по житу чиркают. А Вера, мамочка твоя, хохочет: «Ой, как весело! Опять в нас не попало». Нашла-таки себе веселье! Все ховаются и назад вертаются, к машине. А потом машину разбило, и Олю, подружку Верину, осколком в плечо ранило. Увидела Вера на Оле кровь — заплакала. Пошли мы по шляху...

— А шофер, бабушка?— спрашивает Танька.

— Шофер утек. Его тады не стерег никто. Зачем он нам, гадость такая, когда машину разбило!.. Ехать нема на чым. Идем, значит, по шляху. Подбирает нас военная машина—нас с Верой, и Олечку с мамой ее, и бабушку их старенькую... Тесно было у них, но все же взяли нас. «Як-небудь,— кажут,— доедем на тую сторону...»

Бабушка сняла жакет, сложила на коленях. А у Таньки в глазах дорога, машина военная, и в ней бабушка и мама. У мамы косички — тонкие, белые, и сарафанчик на ней маками — все это ей бабушка уже рассказывала. Но каждый раз, как дойдет до этого Быхова моста, у Таньки по коже мурашки. Как будто не знает, чем там кончилось: не погибла ли на переправе девочка в сарафанчике? Успела перебраться или осталась у немцев в неволе?

— Выехали, значит, на Быхов мост. Машин на нем — лава, а над мостом наши самолеты кружат — не допускают мост бомбить. Кругом бьют, а на мосту не бьют. Переехали Днепр. Тут военные говорят: «Слазьте, Днепр будет укрепляться. Его немец не пройде». Добрались мы до Рославля, сели на камни, угли, на бревна — товарняк, одним словом, и едем. День едем, день стоим. Есть нема чего. Ну, тады Верка моя, гляжу, детей с нашего товарняка собрала и к военному эшалону... Пела она там, плясала, верши рассказывала...

— Не плачь, бабушка,— говорит Танька.

— А я не плачу — что-то с дерева летело, попало у глаз... Ну, пела, значит, плясала, а потом подол сарафанчика собрала: «Товарищи бойцы, помогайте, есть нечего...» Накидали ей усего: и булки, и колбасы, и сахару...— Бабушка и смеется и плачет. — Такое детство было у твоей мамочки. Чего только не пришлось пережить!

Ветер обдувает лепестки черемухи. Они тихо ложатся на воду, и черный лебедь по кличке Отелло клюет их своим красным клювом.

— А про мальчиков?— говорит Танька.— Как ты их гоняла?

Бабушка не слышит ее. Она смотрит на павлина. Он распустил наконец свой веер, но при этом повернулся к ним задом, некрасивой стороной.

— Ну, не гадость?— смеется бабушка.

Это ее словечко, и произносит она его на всякий лад.

Глава шестая

У него привычка — стоять у окна. Он не помнит сам, когда это началось. Наверно, с тех пор, как она стала его женой. Она заставляла себя ждать подолгу, и это сделалось привыч-

кой. Теперь он продолжает стоять у окна и в те немногие часы, когда Вера дома. Ее это сердит.

— Ну, и что ты там увидел интересного?— говорит она и смотрит на него подозрительными глазами. В такие минуты она становится очень похожа на свою мать.— Кого ты высматриваешь?

Ему бы надо сказать: «Тебя». Но он ничего не отвечает, просто отходит в сторону. Но ненадолго. Вскоре он опять стоит у окна. Как будто все еще ждет кого-то, кто вот-вот появится там, в конце улицы.

Сколько долгих часов одиночества он провел, ожидая Веру из командировок, или от Людмилы, где она отсиживалась, уходя от него «навсегда», или просто из компании друзей!

В этих компаниях—у Веры их было несколько — он чувствовал себя не в своей тарелке. Он не был говоруном и всегда предпочитал слушать. Но и слушать людей, которые говорят одновременно, перекидываясь обрывками фраз, полунамеками, понятными лишь избранным, своим,— таких людей слушать утомительно. Постепенно он откололся от ее компаний. Его перестали приглашать. И ему казалось, что Вера втайне этому рада. Ведь ей приходилось объяснять ему шутки, намеки, выполняя роль переводчика. Ее друзья так и говорили: «Вера, переведи ему!»

Она тоже не любила его заводские вечеринки. Говорила чуть презрительно: «Опять одно и то же: сделают салат и будут петь по песеннику, а потом кто-нибудь напьется...» В общем, она бывала права: вечеринки по случаю праздников походили одна на другую. Действительно, девушки-копировщицы из его КБ приготовляли салат, а потом все пели по затрепанному песеннику, потому что многие не знали слов. Пели все подряд, от «Ревела буря, дождь шумел» до «Рула ты, рула-ла-а...». А потом всегда кто-нибудь напивался... И все же, зная наперед, как все будет, он не мог не пойти. Когда он возвращался домой чуть навеселе, мурлыча что-то из песенника, Вера ревниво расспрашивала его, чего это он распелся. Ее интересовало все: танцевал ли он и с кем сидел за столом. Наверно, опять с Кларой!.. И ему было приятно, что она ревнует его. Пожалуй, ради этого он туда и ходил.

Может быть, ее друзья из редакций и радио были славные ребята, но они отнимали у него Веру, и он не мог любить их. В последний раз тоже все получилось из-за них.

Он пришел с завода позже обычного, усталый, как черт. Еще на лестнице он услышал гитару, смех и голоса. Громче всех смеялась Вера. На столе стояло вино, остатки тараньки. Вокруг стола сидели трое парней: спецкоры Толя и Коля и фотокор Вася из газеты, и редактор вещания Зоя по прозвищу Заяц. Вася держал гитару.

— Васенька,— закричала Вера,— сыграй еще раз ту, первую. Пусть Димка послушает. Слушай, Димка!— И представила:— Знакомьтесь: мой муж!

Это была ее любимая шутка: они все были давно знакомы. Заяц сказала: «Очень приятно»,— а Толя, Коля и Вася галантно поклонились.

— Налейте ему штрафную!— сказал один из них тоном распорядителя.

Вася уже ударил по струнам и запел блатным фальцетом:

Где мои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где мои семнадцать бед?
На Большом Каретном.

Где мой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где меня сегодня нет?
На Большом Каретном.

— Большой Каретный — это улица такая была в Москве. Там раньше МУР помещался, поняли?— пояснила Вера.— Блеск, настоящая воровская... Чувствуется, да?

— Чувствуется что-то родное,— сказал Коля, красивый брюнет лет двадцати пяти.

— На Большом Каретном она провела лучшие годы своей жизни,— продекламировал Толя.

— Дурачье,— сказала Вера.— Мой отец был агентом уголовного розыска. Он ловил таких, как этот тип. Возможно, он и отобрал этот черный пистолет, а?

— Ты же говорила, что твой отец казак, конник,— сказала Заяц.— Помните, мальчики?

— Ну и что?— сказала Вера.— Ну и говорила. У меня было два отца.— У нее побелели ноздри, как всегда, когда ее злили.

— Везет же некоторым!— вздохнул брюнет.—У тебя два, а у моих сыновей ни одного...

— Где же третий мой отец?— пропел фоторепортер Вася.— На Большом Каретном?

Они шумели, а он слушал молча и медленно мрачнел. А потом сказал:

— Ладно, давайте валяйте по домам. Я спать лягу...

Без всяких там «извините» и «пожалуйста». И сам открыл дверь на лестницу. Вера говорила потом, что он поступил как последний хам. Чего только она не наговорила ему тогда! Возможно, что он погорячился. И даже поступил как последний хам. Но он слишком устал в тот день. И еще ему не нравилось, как брюнет Коля посматривает на Веру. И эта ее знаменитая шуточка: «Знакомьтесь: мой муж!»

Это было в последний раз, когда она ушла от него к Людмиле «навсегда». «Я не останусь в доме, где не уважают моих друзей»,— говорила она. Потом, когда они помирились, она сказала: «Ты был в чем-то прав, Димка... Не знаю, в чем. Я очень была на тебя зла, и мне было стыдно за твое хамство. Но... если бы ты поступил иначе, ты был бы не ты, и я бы так не любила тебя».

Нет, с Верой он никогда не знал, что будет завтра.

Он был рад приезду Анны Устиновны. С ее появлением дом наполнился запахами и звуками жилья: пахло вареным, жареным, паленым, что-то звенело, падало, плескало. Уже поднимаясь по лестнице к себе домой, он радовался заранее тому, что его встретят все эти запахи и звуки, и заботливый, всегда как будто удивленный возглас: «Дима, пришел уже?»—и приглашение к столу, на котором уже дымится тарелка щей или борща — нехитрые радости, которые он тем более ценил, что они выпадали ему не часто.

Сегодня Вера в Усть-Лабинской и вернется только под вечер. Танька давно пообедала и ушла к подружкам учить уроки.

Анна Устиновна и Дима обедают вместе. Он достает из холодильника бутылочку, наливает по рюмке себе и ей. Она отнекивается, больше для порядка, но потом соглашается, желая уважить Диму.

Мальчишкой — они с Верой поженились, когда им было по восемнадцати лет,— он ох и боялся строгую Верину мать! Сейчас они оба любят вспоминать то время.

— А боялся же ты меня, Димка!— говорит Анна Устиновна, дуя на горячую ложку.

— Боялся, Устиновна,— говорит он ей в тон. И она смеется, довольная.

— А тепер так уже не боишься?

— Теперь не боюсь.

— Врош,— смеется она.— И тепер боишься. Канешна, не так, как тады, но трошки есть...

И они вспоминали послевоенный Минск, разбитый, искалеченный—кладбище домов. Идешь улицей — стены стоят и окна целы, а за окнами — голубое небо или ночь в звездах — смотря по времени. Окраины еще как-то уцелели. Вера с матерью жили в маленьком домике на тихой улице, в комнатке узкой и низкой, похожей на блиндаж: входя в нее, пригибали голову, чтобы не стукнуться о притолоку. И даже эта комнатка была у них не своя — платили за нее хозяйке. Стояла в ней кровать, на которой мать с дочерью спали вдвоем, узкий столик письменный — на нем и обедали — и тумбочка — все хозяйское. Шкафа не было, вещи в чемоданах под кроватью держали.

И сюда, на тихую улочку, тянулись за Верой «хвосты» — друзья ее и подружки. Она тогда только десятый класс окончила, в институт поступила, на первый курс.

Мать — на фабрику, а она наведет к себе друзей,— в хату некуда, так во дворике сидят. Шум, споры, разговоры... Хозяйка сердится: «Разве то люди? Дрозды! Знала б, не пустила к себе, где хотите живите!» А Вера смеется: рада. Как-то летом еще пришла мать с фабрики, а с Верой на лавочке за воротами мальчишка-солдатик сидит, тощенький такой, высокенький. У Веры на коленях каска, немецкая, пробитая, а в ней вишня насыпана до краев. И они эту вишню едят. Стали мать угощать, а она смотрит на каску — и вся война, вся судьба перед глазами проходит.

— И не противно вам из этой гадости вишню есть?— спрашивает.

— А мы газетку постелили,— Вера отвечает.

А мальчишка, сопляк совсем, молчит: испугался...

Так и помнится ей эта каска — с трещинкой на паучьем знаке, с дыркой от пули.

— И где ж вы нашли такую?

— В лесу,— отвечают.— Тут, недалеко.

Ей бы не на каску смотреть, а на сопляка-мальчишку этого. Ей бы спросить: «В лес-то зачем ходили, что там делали?..» Не спросила. А полгода спустя попался ей под руку паспорт дочкин, открыла его — и пошел свет кругами... Мамочки мои, штамп загсовский! Жена уже чья-то!

Вера дома была. Услышала, как закричала мать,— и бежать из дому вон. Месяц не появлялась.

— А я тады с фабрики в пустую хату не можу идти,— говорит Анна Устиновна,— как дурная, на трамвае по городу езжу туда-сюда, думаю, может, где встречу. Дите ж мое, родное. Так нет, не встречаю. Люди говорят: там вчера видели, тут сегодня ехала. А мне не попадается. Потом адрес дали, где она с мужем живет. Где вы, значит, комнату сняли... Другой край города. Прихожу туда — улочки-переулочки, наконец насилу нашла. Говорат, заходите, муж дома. Мамочка ты моя, «муж»! Вхожу, а тут он самый, сопляк этай, высокенький, что на лавочке с ней вишню кушал. Котелок в печку ставит, в котелке бульба у шелухе, нечищеная, печка вытопилась, и зола остыла уже. Что, може, не так было?

— Все правильно,— кивает Дима и хочет налить вторую, но Анна Устиновна прикрывает свою рюмку ладонью.

— Вхожу, значит. Становлюсь на пороге. «Где Вера?»

«Не знаю. Она здесь не живет».

«Как так не живет?»

«Она от меня ушла. В общежитие, к девочкам». А сам дрожишь, бледный,— боишься меня. «А ну, пойдем!» — гавару. А ты: «Не пойду никуда». «Пойдешь!»

Оделся. Приходим, значит, с тобой в этае общежитие.

— Новый год был,— вставляет Дима.— Главное-то забыли?

— Как же, забыла я! На том свете и то не забуду все ваши коники! Пришли в общежитие, Вера увидала меня. Подбежала, целует. Вижу— рада, что я первая к ней пришла. Соскучилась все же по матери. «Заходи сюда!» «Нет,— гавару,— пойдем!» А ты на улице дожидался. Выходим с ней, она тебя увидела: «А ты здесь чего? Уходи!» А я: «Нет, он не уйдет!» Что, може, не было так?

— Было, Устиновна. Все было,— говорит он.

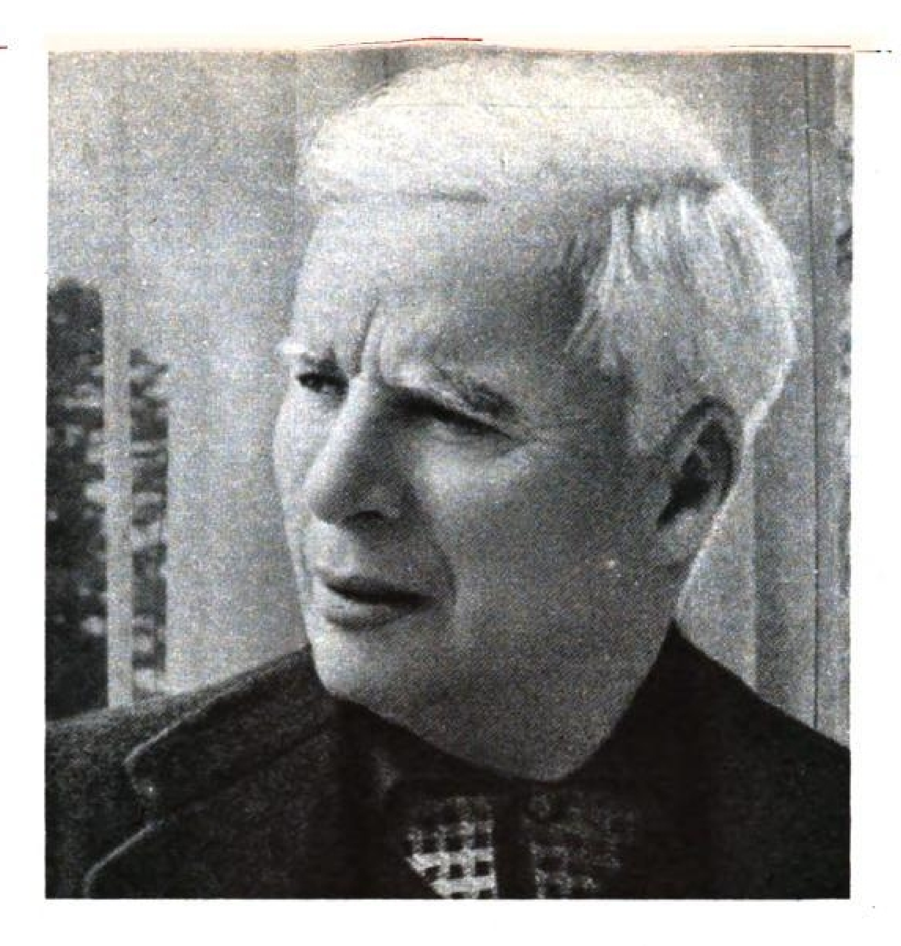
— Пришли домой утрох. Я гавару: «Так, дети, у нас уже не пойдет. Дело сделано, тепер живите. Надо как-то жить...» А тут подружки прибежали с общежития: «Где Вера? У нас вечер, без Веры пьесу не можем играть». И утягли ее с собой. Сказала: скоро приду. А мы с тобой на стол собрали, что бог послал, елочку зажгли и сидим.

— Как теперь,— сказал он. Ему вдруг стало грустно.— Сидим час, сидим два... Елочка наша сгорела. Новый год встретили... А Вера утром уже пришла, сказала: подружки не отпустили.

Он смотрел на Устиновну, на эту сильную, еще по-своему красивую женщину, которая когда-то казалась ему такой грозной. Сколько он помнит ее — помнит и эти мужские часы у нее на руке, «чиненные-перечиненные». Женских часиков она не признавала, считая их забавой, игрушкой, годной для тех, кому «нема чего рабыть». Когда она осталась вдовой во второй раз, ей было, как сейчас Вере...

Он поблагодарил за обед и поднялся. Подошел к окну. Сколько раз стоял он так, ожидая Веру! И опять он ждал ее. Ждал, когда покажется в конце улицы, промелькнет за стволами деревьев зеленый «газик» с надписью «Радио».

Продолжение следует.



Чарли ЧАПЛИН

МОЯ БИОГРАФИЯ

«Моя биография» Чарли Чаплина вышла в Англии в этом году. В ней выдающийся киноактер и режиссер с немалым литературным мастерством рисует свой долгий, сложный и во многом нелегкий жизненный и творческий путь. Книга охватывает время от детских и юношеских лет (конец прошлого — начало нынешнего столетия) до наших дней, когда Чаплин, покинув Соединенные Штаты, где он подвергся травле реакционных кругов, возвратился в Европу и поселился в Швейцарии. В «Биографии» немало страниц, передающих взгляды Чарли Чаплина на искусство вообще и киноискусство в частности, а также рисующих его как убежденного противника войны, фашизма и реакции.

Мы печатаем отрывки из некоторых глав книги Чарли Чаплина. Из этой же книги взяты фотографии.

1. СТРАНИЦЫ ДЕТСТВА

Мать сняла комнату на отдаленной улице в районе Кеннингтон Кросс. Поблизости была фабричка, изготовлявшая уксус, и едкая вонь, доносившаяся оттуда, начинала мучить нас с полудня. Но комната обходилась недорого, и мы снова были все вместе: мать, брат Сидней и я. Мать совершенно выздоровела, и нам с братом и в голову не приходило, что совсем недавно она была очень больна.

Как мы прожили это время, у меня не сохранилось даже приблизительного представления. Помнится только, что чрезмерных трудностей и неразрешимых жизненных тягот не было. Отец, не живший с нами, выплачивал нам десять шиллингов в неделю, а мать снова взялась за шитье.

Один случай из того времени особенно отчетливо врезался в память. На дальнем конце нашей улицы была скотобойня, и мимо нашего дома проходили по дороге на убой овцы и бараны. Помню, одна овечка выскочила из стада и помчалась вниз по улице. Это развеселило уличных зевак. Некоторые пытались схватить беглянку, спотыкались, падали. Я визжал от восторга, наблюдая за сногсшибательными прыжками охваченной ужасом овечки: это было так смешно! Наконец ее поймали и отправили на бойню. И тут меня пронзила мысль, что совершается нечто страшное. Я вбежал в дом и, горько плача, кричал матери:

— Теперь они убьют ее! Они убьют ее!

Ясный весенний полдень, забавная погоня за овечкой — все это долгое время стояло у меня перед глазами. Не этот ли случай — сочетание трагического и комического — послужил смутным прообразом моих будущих фильмов?

В школе начали открываться передо мной новые горизонты — история, поэзия, естественные науки. Но другие предметы казались будничными и скучными, особенно арифметика: из сложений и вычитаний вставал образ кассира в лавке, а польза от арифметики, казалось, сводилась к тому, что он не обсчитает тебя при сдаче.

Впрочем, и история была лишь летописью нечистых дел и злодеяний: бесконечная череда убитых королей или, наоборот, умерщвленных королями жен, братьев и племянников. География — одни сплошные карты. Поэзия — не более как упражнение памяти. Учение сбивало меня с толку множеством фактов и знаний, которые казались мне малоинтересными.

Вот если бы кто-нибудь сумел показать мне товар лицом — предварял бы каждый предмет пробуждающим любознательность предисловием, развивал бы воображение вместо вдалбливания фактов, забавлял бы и заинтриговывал всякими фокусами, которые совершают числа, раскрывал бы романтику географических карт, прививал бы глубокий взгляд на историю и помогал чувствовать музыку поэзии,— кто знает, может быть, из меня получился бы даже ученый!

В это время мать снова принялась развивать во мне интерес к театру. Она незаметно вселяла в меня мысль, что у меня есть талант. Однако я не испытывал никакого желания показывать на людях то, чему учила меня мать; это желание загорелось во мне лишь перед рождеством, когда у нас в школе решили поставить спектакль-кантату на тему «Золушки». Но почему-то меня не взяли в число исполнителей. Я завидовал более счастливым товарищам, твердо зная, что сумел бы сыграть в «Золушке» намного лучше их. Я возмущался тем, как тупо, без всякой фантазии исполняли они свои роли. В Безобразных Сестрах не было ни малейшей изюминки комического. Обе просто произносили затверженные реплики, по-школьному аккуратно, неприятными тоненькими голосками. А я — с каким удовольствием сыграл бы одну из Сестер, получив от матери нужные советы! Только одна девочка, игравшая в кантате Золушку, пленила мое воображение. Она была хороша собой, изящна, лет четырнадцати, и я тайно влюбился в нее. Но я знал, что она недосягаема — и по возрасту и по положению родителей.

Спектакль показался мне унылым, я унес с собой лишь образ красивой Золушки, но и в этом была доля горечи. В те минуты я не подозревал, какой ждет меня триумф через два месяца!

Меня вдруг стали водить из класса в класс и заставляли декламировать стихотворение «Кот мисс Присциллы». Это были юмористические стишки, случайно увиденные матерью на прилавке газетного киоска, они показались ей забавными, и она их списала. Однажды во время перемены я прочел их одному из школьных товарищей. Моя декламация настолько понравилась нашему учителю мистеру Рейду, что он велел мне повторить ее перед всем классом; ребята покатывались со смеху. Слух обо мне быстро распространился по всей школе — и вот передо мной все новые и новые слушатели.

Правда, мне досталась аудитория в возрасте, не превышавшем

пяти лет, и я, собственно, только подражал чтению моей матери, но тут я впервые сознательно почувствовал вкус сценического эффекта. Школа засверкала всеми цветами радуги. Из незаметного, застенчивого мальчика я вдруг превратился в магнит, притягивающий к себе интерес учителей, школьников. Я даже учиться стал лучше.

Впрочем, мое учение вскоре было прервано. Мне предстояло вступить в маленькую труппу комических танцоров под названием «Восемь парней из Ланкашира».

* * *

После смерти отца мать, как его вдова, получила извещение из больницы: она может забрать его личные вещи. Они состояли из запятнанной кровью черной пары, нижнего белья, сорочки, черного галстука и халата. Были еще стоптанные матерчатые домашние туфли, в носки которых были втиснуты апельсины. Когда мать вынула апельсины, из туфли выпала монета в полсоверена. Это был божий дар!..

Несколько недель я носил траурную повязку на рукаве. Этот знак печали оказался кстати, когда я в один субботний вечер решил заняться коммерцией — торговать цветами. Я уговорил мать дать мне взаймы один шиллинг, отправился на цветочный рынок, купил там две большие связки нарциссов и после школы долго трудился, раскладывая цветы в букетики стоимостью в пенс. Распродай я все, я мог бы получить сто процентов прибыли!

Я пошел по кабачкам. Приняв скорбный вид, я тихо говорил:

— Нарцисс, мисс! Нарцисс, мадам!

Женщины неизменно отвечали вопросом:

— А кто это у тебя, сынок?

Я понижал голос до шепота:

— Отец.

После этого я получал мелкую монету.

Мать была немало изумлена, когда я вернулся вечером домой и молча вручил ей на пять с лишним шиллингов мелочи. Но однажды она столкнулась со мной, когда я выходил из пивной, и моей коммерции пришел конец: христианское чувство матери было оскорблено — ее ребенок торгует цветами по кабакам!

— Пьянство погубило твоего отца,— говорила она.— И деньги из такого источника тоже не принесут ничего, кроме беды.

Но дух предпринимательства, однажды взыгравший во мне, не угасал. Я не переставал придумывать всяческие планы быстрого обогащения. Проходя мимо пустых торговых помещений, я мысленно вел в них самые разнообразные выгодные операции, начиная от продажи жареной рыбы с картофелем и кончая всякими бакалейными товарами. Почему-то в голове у меня всегда было что-нибудь съедобное. Мне требовался капитал, но как достать этот капитал? В конце концов я заявил матери, что бросаю школу и буду искать какую-нибудь работу.

Так я стал бывалым человеком, перепробовавшим немало разных профессий. Вначале я поступил мальчиком-рассыльным в бакалейную лавку. Когда не было поручений, я весело возился в погребе, заваленном ящиками с мылом, крахмалом, свечами, конфетами, печеньем, и, разумеется, до тошноты наедался сластями.

Потом я стал посыльным в конторе «Гул и Кинси-Тэйлор», юристов страховой компании на Трогмортон-авеню. Эта работа досталась мне по наследству от Сиднея, он же меня туда рекомендовал. Служба была выгодная — мне платили двенадцать шиллингов в неделю, в обязанности мои входило прислуживать во время приема посетителей, а после окончания убирать помещение. Я очень нравился ожидающим приема клиентам, зато уборка была мне совсем не по душе, для этого, полагал я, больше годился Сидней. Я не брезговал приводить в порядок уборную, но вытирать десятифутовые стекла конторских окон — это скорее была работа для какого-нибудь Гаргантюа. Стекла пылились, и в конторе становилось все темнее. В конце концов мне вежливо сказали, что я слишком мал для такой работы.

В Кеннингтонской школе. Мне семь лет.



Услышав это, я чуть не лишился чувств и горько разрыдался. Адвокат Кинси-Тэйлор, женатый на богатой даме, владелице большого особняка на Ланкастер-гейт, сжалился надо мной и сказал, что пристроит меня слугой в доме. У меня отлегло от сердца. Слуга в частном доме — это ведь верные чаевые!

Место оказалось приятным: я стал любимцем и баловнем всей женской прислуги. Горничные обращались со мной, как с ребенком, целовали перед тем, как я уходил спать. Но, на беду, хозяйке дома вздумалось сделать уборку в погребе, где пустые ящики и всякая рухлядь громоздились до самого потолка. Надо было все это разобрать и сложить в порядке. Я принялся за дело, но скоро отвлекся: меня заинтересовала железная труба футов в восемь длиной, и я принялся дуть в нее, изображая трубача. Не успел я войти во вкус, как появилась мадам собственной персоной. Мне было объявлено, что через три дня я могу убираться.

Неплохо работалось мне в магазине канцелярских принадлежностей «Смит и сын». Но и оттуда меня выставили, как только узнали, что я малолетний. В течение одного дня я был стеклодувом. Я читал о стекольном производстве в школе и считал это делом романтическим, но жара оказалась мне не по силам — меня вынесли в обмороке и уложили на куче песка. Это был конец, я даже не явился за своим дневным заработком.

Следующими моими хозяевами были Старкеры, имевшие небольшое типографское дело. Я решил обмануть их, заявив, что умею работать на типографской печатной машине. Я видел машину в действии, заглядывая с улицы в подвал, где она стояла, мне показалось, что дело это простое и легкое. В объявлении на дверях было сказано: «Нужен мальчик для работы накладчиком на типографской машине фирмы «Вэфдейл». Когда мастер провел меня в подвал, я увидел огромную махину. Чтобы работать на ней, надо было подняться на платформу, возвышавшуюся футов на пять над полом. Я чувствовал себя так, словно влез на Эйфелеву башню.

— Что же, пускай ее,— сказал мастер.

— Пускать... кого?

Мастер рассмеялся.

— Я вижу, ты большой специалист по типографским машинам!

— Вы только позвольте мне,— сказал я, заикаясь.— Я быстро выучусь.

«Пускай ее»— означало перевести рычаг, чтобы заработало это металлическое чудовище. Мастер показал, как это делается, пустив машину на половинную скорость. Машина ожила, загудела, заревела — мне показалось, что она сейчас меня сожрет... Листы бумаги тоже оказались огромными, меня можно было с головой закутать в такой лист. С помощью костяной лопатки я раздвигал веерообразно пачку листов, потом захватывал лист за угол и аккуратно накладывал его на зубцы — как раз в тот момент, когда чудовище его хватало, заглатывало и снова извергало, уже на другом конце. Весь первый день я помирал от страха перед ненасытным чудовищем, которое, словно издеваясь, старалось меня обогнать. И все-таки меня оставили на этой работе. Двенадцать шиллингов в неделю!..

Было что-то романтическое и увлекательное в том, чтобы выходить, едва рассветет, из дому на уличный холод. Улицы молчаливы и пустынны, лишь две-три темные фигуры движутся на свет газовых ламп кофейной Локхарта — завтракать. Чувство покоя и довольства охватывает тебя, когда перед целым днем работы усаживаешься с приятелем за стол, прихлебываешь горячий чай у огня камина, в уюте и тепле. Работа печатника не лишена была приятности; правда, в конце недели приходилось отмывать от краски огромные, тяжелые желатиновые валы, весом каждый чуть ли не в сто фунтов. А вообще работа терпимая. И все-таки на четвертую неделю я не выдержал — свалился и проболел долго. Мать настояла, чтобы я вернулся в школу.

Сиднею в это время стало уже шестнадцать. Однажды он вбежал в дом возбужденный, еле переводя дыхание. Ему удалось устроиться сигнальщиком на пассажирский пароход компании «Доновэн-Касл», отправляющийся в Африку. В свое время он изучал сигналы горниста на учебном судне, теперь это пригодилось. Жалованье ему назначили два фунта в месяц!..

Вернувшись из первого плавания, Сидней жил дома, пока не были истрачены все деньги. Но он был законтрактован на новый рейс, и ему выдали вперед тридцать пять шиллингов, которые он отдал матери. Этого хватило нам с матерью ненадолго — всего на три недели, а до нового приезда Сиднея оставалось столько же времени. Мать, правда, гнула спину над швейной машиной, но давало это гроши. Снова мы сидели на мели.

Но я был неистощим по части всяких планов, как выйти из кризиса. Вспомнив, что у матери скопилась целая куча изношенной одежды, я предложил, благо был субботний день, попытаться сбыть кое-что из нее на рынке. Мать была смущена, она стала уверять, что за тряпье это и гроша не дадут. Но я завернул все в рваную простыню и бодро направил стопы к рынку Невингтон-баттс. Там я выложил свой неаппетитный товар прямо на мостовую и принялся зазывать покупателей.

— Вот, пожалуйста!— кричал я, выхватывая из кучи старую рубашку или пару старых корсетов.— Сколько дадите? Шиллинг, полшиллинга? Три пенса, двухпенсовик?

Торговля не шла. Люди останавливались, ошалело разглядывая меня и мой товар, смеялись и отходили. Мне становилось не по себе, особенно после того, как я заметил, что продавцы из ювелирного магазина напротив уставились на меня через стекло витрины. И все-таки я не сдавался. Наконец мне улыбнулась удача: я сбыл за полшиллинга пару гетр, выглядевшую не так зловеще, как все остальное. Но чем больше я стоял, тем хуже себя чувствовал. Один из приказчиков ювелирного магазина подошел ко мне и спросил, давно ли я занимаюсь коммерцией. Он задал этот вопрос с невозмутимым видом, но я учуял насмешку и сухо ответил, что только вступаю в дело. Он пожал плечами и вернулся к товарищам, которых, видимо, все это очень забавляло. Нет, довольно! Я поспешно завернул свой товар в простыню и отправился домой. Когда я сообщил матери, что продал гетры за полшиллинга, она возмутилась.

— За них можно было получить больше!— воскликнула она.— Это была очень изящная пара гетр...

* * *

Джозеф Конрад писал как-то одному своему другу, что жизнь заставила его почувствовать себя слепой крысой, загнанной в угол и ожидающей, когда ее прикончат. Это сравнение в чем-то подходит к ужасающим условиям, с которыми пришлось познакомиться моему поколению. И все-таки некоторых из нас посещала неожиданная удача. Так случилось и со мной.

Я побывал газетчиком, типографским рабочим, стеклодувом, лакеем, слугой в конторе адвокатов. Но ни на одном повороте этого пути я не забывал о главном, о высшей цели своей жизни: стать актером. И вот время от времени, когда работы не было, я до блеска начищал ботинки, ожесточенно выбивал пыль из пиджака, надевал чистый воротничок и отправлялся в театральное агентство Блэкмора на Бэдфорд-стрит. Я ходил туда до тех пор, пока мой костюм еще позволял продолжать эти визиты.


Мой отец.


Моя мать.


Мой семнадцатилетний брат Сидней.

Когда я впервые явился на Бэдфорд-стрит, контора была полна актерами обоего пола. Все были безупречно одеты, стояли группами и с пафосом о чем-то толковали. Я стыдливо забился в дальний уголок, у самой двери, охваченный болезненной застенчивостью, всячески пытаясь сделать незаметной мою поношенную пиджачную пару и башмаки с покривившимися каблуками. Из внутренней двери то и дело появлялся служащий и, как механическая жатка, срезал наигранную самоуверенность посетителей лаконическими репликами: «Нет ничего для вас!.. И для вас.. И для вас тоже!..» Комната быстро пустела, словно церковь после богослужения.

Однажды я о чем-то задумался и остался в приемной один. Заметив меня, служащий резко повернулся.

— А вам что угодно?

Я почувствовал себя Оливером Твистом.

— Не нужны ли вам... на детские роли?— проговорил я, с трудом сглотнув подступивший к горлу ком.

— А вы записались у нас?

Я молча покачал головой.

К моему удивлению, он повел меня в соседнюю комнату, записал мое имя, адрес и некоторые подробности моей биографии, после чего сказал, что, если возникнет потребность, он даст мне знать. Я ушел с приятным чувством человека, исполнившего свой долг, хотя был скорее доволен, что на том дело и кончилось.

Но через месяц я получил открытку. В ней было всего несколько слов: «Просим зайти в агентство Блэкмора, Бэдфорд-стрит».

К счастью, я мог явиться туда в новом костюме, купленном мне Сиднеем вскоре после его возвращения. Я предстал перед самим мистером Блэкмором, встретившим меня с любезной улыбкой. Мистер Блэкмор, который рисовался мне чем-то вроде всемогущего бога, без лишних слов вручил мне записку к мистеру Гамильтону, которого я должен был найти в конторе мистера Чарльза Фромана.

Мистер Гамильтон внимательно прочел записку, и его, видимо, немало удивило и позабавило, что я такого маленького роста. Я ведь солгал в агентстве насчет своего возраста, заявив, что мне четырнадцать, а мне было всего двенадцать с половиной. Гамильтон объяснил, что мне предстоит играть маленького слугу Билли в пьесе «Шерлок Холмс» и что осенью я поеду в турне с труппой на восемь месяцев. А покамест мне дадут детскую роль в другой пьесе. Платить мне будут два фунта десять шиллингов в неделю.

Цифра меня оглушила. Это было целое богатство. Но я и сам удивился себе, когда заявил, не моргнув глазом:

— Насчет условий я должен посоветоваться с моим братом.

Мистер Гамильтон рассмеялся; казалось, мои слова еще больше его развеселили. Он вызвал к себе всех служащих конторы и потребовал, чтобы они поглядели на меня.

— Вот он, наш Билли! Ну, что вы скажете о нем?

Они весело переговаривались, улыбались, подмигивали мне. «Что же это происходит?» — спрашивал я себя мысленно. Мне казалось, что мир вдруг стал другим и заключил меня в свои теплые объятия.

Мне была вручена новая записка — к мистеру Сэнтсбери, которого можно застать в Грин-Рум-клаб на Лейчестер-сквер. И я удалился, на седьмом небе от счастья.

У мистера Сэнтсбери все повторилось наново. Он созвал целую толпу людей — поглядеть на меня. Потом передал мне роль, заявив, что она наиболее характерная во всей пьесе. Меня охватила дрожь: я боялся, что он заставит меня тут же, на месте, прочесть что-либо из роли, а это было бы для меня катастрофой: я ведь почти не умел читать. К счастью, мистер Сэнтсбери предложил мне взять роль домой и хорошенько проштудировать на свободе, к репетициям собирались приступить не раньше следующей недели.

Я поехал домой в омнибусе и только по дороге постиг наконец все значение того, что со мной случилось. Внезапно осталась позади нищенская, беспросветная жизнь, я вступил в царство долгожданной мечты, мечты, которую так часто пробуждала во мне мать. Да, эта мечта превращается в действительность, мечта стать актером! И все это внезапно, совершенно неожиданно!

Я ощупывал пальцами страницы моей роли, она была в коричневой обложке. Я впервые держал в руках важнейший документ, открывший мне доступ в настоящую жизнь. Я наконец понял, какой порог перешагнул в этот день. Я больше не беспризорный подросток из лондонских трущоб. Отныне я принадлежу театру!

Мне хотелось плакать от счастья.

* * *

На время первого турне по провинциальным городам дирекция устроила меня в семье мистера и миссис Грин — плотника и костюмерши нашей труппы. Это был не лучший вариант: мистер и миссис Грин частенько выпивали. К тому же мне не всегда хотелось есть, когда они садились за стол, да и еда была не очень привлекательна. Но, видимо, нахлебник оказался больше в тягость хозяевам, чем они ему. Через три недели обе стороны мирно согласились расстаться.

Я стал жить один — в незнакомых городах, в случайных комнатушках, редко встречаясь с кем-либо до вечера, когда начинались спектакли. Целыми днями я слышал только собственный голос: у меня появилась привычка разговаривать с самим собой. Иногда я заходил в трактир, где собирались артисты труппы, и молча глядел, как они играют в бильярд. Я чувствовал, что мое присутствие стесняет их, да и сами они довольно бесцеремонно давали мне это понять. Я даже не мог улыбаться на их пустые шутки — они встречали это хмуро и недоброжелательно.

Я становился все более мрачным и подавленным. Приехав в субботу под вечер в какой-нибудь городок, я отправлялся бродить по главной улице, слушал печальный перезвон колоколов, это, разумеется, не рассеивало острого чувства одиночества. В будние дни я ходил на местный рынок и закупал провизию на обед — мясо, всякую бакалею. Иногда я устраивался на полный пансион и тогда питался в семье. Мне это нравилось: кухни в этой части Англии отличаются чистотой и уютом, плиты выкрашены в голубой цвет, решетки начищены до блеска. В дни, когда хозяйка пекла хлеб, приятно было, вернувшись в сумерки с холода, сразу очутиться у жаркого огня ланкаширской печи, увидеть возле плиты противни с караваями не испеченного еще хлеба, а потом сесть за вечерний чай со всей семьей. С какой торжественной серьезностью все принимались за только что вынутый из печи хлеб со свежесбитым маслом!

Понемногу я привык жить один, но как-то незаметно разучился общаться с людьми. При встрече на улице с нашими актерами я безнадежно терялся. Я не мог связно ответить даже на самый простой их вопрос, и они испуганно уходили от меня, я уверен, опасаясь за мой рассудок. Мисс Грета Хан, наша премьерша, была красива и очень мила, но когда я замечал издали, что она переходит улицу, направляясь ко мне, я отворачивался и принимался пристально разглядывать какую-нибудь витрину или просто сбегал в ближайший переулок.

Я перестал заботиться о своей внешности, сделался неряшливым, рассеянным. Когда труппа переезжала в другой город, я опаздывал к поезду, являясь в самую последнюю минуту, растрепанный, без воротничка, и все меня отчитывали за это.

Чтобы не быть совсем уж одиноким, я купил кролика и незаметно проносил его в комнату, где поселялся. Это был ласковый маленький зверек, но не очень желанный жилец. Шкурка у кролика была белая, чистенькая, и, как мне казалось, за это можно было простить ему резкий запах. Я держал кролика в деревянной клетке, которую засовывал под кровать. Хозяйка, бывало, с любезным видом входит в комнату, неся мне завтрак, но тут же ей в нос ударяет запах, и она поспешно исчезает, испуганная и явно сконфуженная. После ее ухода я выпускал кролика, и он принимался прыгать по комнате.

Скоро я научил моего четвероногого друга убегать в свою клетку при первом стуке в дверь. Если же хозяйка все-таки раскрывала нашу тайну, я заставлял кролика проделывать свой трюк в ее присутствии и тем умасливал ее сердце.

В Тонипэнди, в Уэльсе, это не помогло. После того как кролик продемонстрировал свой фокус, хозяйка только загадочно усмехнулась и промолчала. Вернувшись вечером из театра, я обнаружил, что мой малыш исчез. Я бросился расспрашивать хозяйку, но та только качала головой и повторяла:

— Должно быть, сбежал. Или кто-нибудь украл его.

Она разрешила неприятную проблему радикально и на свой манер!..

Продолжение следует.



ИСКАНДЕР

А. СТАРКОВ

У меня, признаться, старое предубеждение против московских таксистов. Не везло мне с ними. То стоишь с поднятой рукой, тщетно взывая к проносящимся мимо зеленым огонькам. То на стоянке умоляешь — ни один не везет: не в ту им сторону... А к тому же и случай с Юрием Власовым. С чемпионом. Он, между прочим, не только чемпион, он и литератор, пишет рассказы. И в связи с этим бывает иногда у нас в редакции. Как-то пришел возбужденный. Рассказывает, что с ним случилось вот сейчас по дороге. Он спешил, взял такси. Шофер, узнав, куда ехать, буркнул что-то недовольное. Но повез. По странному маршруту. По принципу — из Москвы в Тулу через Владивосток. Власов говорит: «Как вы едете? Есть путь короче». А тот ему: «Коротко только до твоего носа...» «Остановите,— говорит Власов.— Я сойду». Шофер притормозил и, когда пассажир открывал дверку, мазнул ему ладонью по лицу, сбил очки на нос. Власов — внешне очень спокойный человек. Он взял шофера левой рукой за коленку и потянул из машины. Я не знаю, что испытывал в эту минуту таксист. Наверно, что-то похожее на ощущения чугунной болванки, которую подхватил башенный кран. Шофер пытался уцепиться за баранку, за дверную ручку, но был уже на земле. И левая рука чемпиона позволила ему подняться только при появлении милиционера. «Товарищ старшина,— сказал таксист,— вот хулиганит гражданин, не пожелал платить и еще — в драку!» Собралась толпа. И кто-то произнес с укоризной: «Интеллигенция, видать. В очках, а позволяет такое...» «Ваши документы! — потребовал старшина и, раскрыв протянутый ему паспорт, прочел вслух: «Власов Юрий Петрович». Шофер вытаращил глазки, сразу смекнул, кто перед ним. «Извините,— говорит,— дорогой Юрий Петрович. Вы в костюмчике-то совсем неузнаваемый. Вот я вас и не признал. Садитесь, пожалуйста. Я вас мигом докачу».

...Я рассказал об этом случае Искандеру, моему новому знакомому. Он тоже из таксистов. Мы с ним познакомились через газету. Может быть, вы читали эту заметку в «Вечерке»? Про шофера Мустафаева. Как он бросился в Яузу за преступником и поймал его. Несколько строк, скупое изложение факта. А меня интересовали подробности. И вот два обстоятельства помогли мне быстро удовлетворить любопытство.

Во-первых, место происшествия оказалось по соседству с нашим домом. Это район выставки. Проспект Мира. Вы едете со стороны города мимо мухинской скульптуры, мимо рабочего с крестьянкой. Дальше проспект как бы троится. Для трамваев дорога слева — к кольцу, к Ростокинскому депо. Прямо — большой железобетонный мост через Яузу, продолжение основной магистрали. Это и мост и виадук. Под ним, кроме реки, шоссе, поворот с проспекта на Сельскохозяйственную улицу, в Медведково, в Бескудниково. Рядом с этим большим — старенький мосток с деревянным настилом, оставленный для пешеходов, чтобы им не взбираться по насыпи на виадук. Яуза тут узка, метров сорок, не более, мутна, не ухожена и вообще несимпатична. Петляет, неся всякую дрянь, в низине вдоль проспекта, потом резко, почти под прямым углом, поворачивает и уходит вдали под акведук. Стариннейшее, восемнадцатого века, екатерининской поры, чуть не в полкилометра многоарочное сооружение. Воздвигнут по указу царицы для снабжения Москвы мытищинской ключевой водой. Ныне сохраняется как памятник архитектуры...

Я вышел к Яузе по левой стороне проспекта Мира. Трамвайное кольцо. Домишко у кольца тоже, видно, из прошлого века, но с приметой настоящего — с телефонной будкой у покосившейся стены. И еще вполне современная деталь: павильон-автомат «Пиво. Воды». Милиционер на посту, молоденький сержант. Подхожу, спрашиваю, не слыхал ли про тот случай. Мало что слыхал — участвовал!

— Время к ночи шло. Точный час не помню, вроде бы около двенадцати. Я стоял вот тут же, у забегаловки. «Пятерка» подошла из города, пустая почти, три пассажира. Один дальше поехал, по кругу, я в окно увидел — спит. Мужчина сошел, в черном костюме, белая рубашка, без галстука. Женщина за ним с кошелкой. Я думал, они вместе. Но он быстро-быстро наверх, к мосту, а она — ко мне. «Задержите,— шепчет,— этого гражданина. Он пьяного сейчас в трамвае обчистил, вон того, что поехал. Я заметила, а сказать побоялась: пырнет. Бумажник вытащил. Вы мне верьте, у меня у самой муж милиционер...» Я сразу за тем типом. Он — в бег, через дорогу, к автобусной остановке, там двести шестьдесят пятый, загородный, как раз отходил. Не успел вскочить — дверь захлопнулась, стукнул в окно, шофер не открыл. И я уже настигаю. Он тогда вниз, под мост, я с другой стороны — тоже под мост, чтобы там его и взять. Успел я добежать вон до того пешеходного, и этот тип мне навстречу, времени у него секунда, он к парапету, перемахнул, и — в воду. Я через мостик — на тот берег: думал, он туда. Нет. на середину реки доплыл, пиджачишко с себя скинул и саженками вниз по течению. Я свищу, свищу — никого вокруг. Чувствую, уйдет. Мне его все хуже видно, только рубаха чуть белеет в темноте, еще немного и скроется. Подплывет к акведуку, а там совсем уж глухое место, фабричные задворки, ускользнет ворюга, не сыщешь. Стрелять по человеку не решаюсь, свищу, а что толку? Дал выстрел в воздух раз, другой, а толку — тоже чуть... Вот тут-то и выкатила под мост «Волга» с тем шофером...

У меня со слов сержанта Козлова записан и весь дальнейший ход событий. Но, мне кажется, пора уже «давать показания» и самому Мустафаеву.

Я его быстро разыскал. Мы, оказывается, работаем по соседству. Редакция — в Бумажном проезде. 15-й таксомоторный парк — через дорогу. Мне там в отделе кадров сказали:

— Вам Мустафаева? Сегодня какое число? Четное? Ну, он, значит, на линии, до ночи. Вчера только из отпуска вернулся, из Ашхабада. Вот его домашний телефон. Вы завтра с утра звоните до половины одиннадцатого. В одиннадцать у него по нечетным бассейн. Это уж точно...

В бассейне на Кропоткинской мы и встретились. Поднялись к Гоголевскому бульвару, присели на скамейку. И вот вам стенограмма:

— В тот день густо у меня шел пассажир! Ни разу я, понимаешь, на стоянку не попал. И ни минуты холостого прогона. Перехватывали. Один вылезает — другой тут же на его место. С утра по аэродромам, во Внуково, в Шереметьево. Часам к четырем я уже план сделал! А пассажиров не убывало.

Я их всех помню. И не только за тот один день. Хоть раз когда возил — запечатлелся человек. Впечатался в память. Мне с пассажиром интересно. Пока везу— разговор. Я, понимаешь, не могу молча.

Старика взял в Марьиной роще. И уже знаю, что у него три внука. Сейчас про каждого расскажет. Но гляжу на дорогу, женщина сошла с тротуара, мальчишку держит на руках, хочет, видно, меня остановить, а руку-то ей не поднять. Притормозил, открыл дверку. «Пожалуйста,— говорит,— отвезите в больницу. Олежка мой с дерева упал. Видите, как ножка висит, наверно, перелом. Мне бы в Филатовскую...» Старичок — отзывчивый, вылез, место уступил да еще помог женщине поудобней с ребенком усесться. Везу, стараюсь осторожней, раз перелом. Мальчишка орет, не утихая. И по ору его чую: не перелом это, ушиб скорей. Дорога, хоть и асфальт, а нет-нет да и встряхнет. Но на нем, на мальчишке, это не отражается, вопит на одной ноте. Вчера я вез девочку со сломанной рукой. Стонала, а чуть колдобинка — вскрикивала... Я женщине и говорю: «Не волнуйтесь. Ножка у вашего сына целая, ушиб только или вывих». А она, верующая, что ли, говорит: «Услышал бы ваши добрые слова бог...» Приехали в Филатовскую. Я мальчика на руки—и понес. В приемном покое очередь. Я без очереди к дежурному врачу. «Вы,—спрашивает,—кто будете больному? Отец?» «Я ему таксист,— говорю.— Разве по фуражке не видно?» Сели мы с матерью около рентгеновского кабинета, ждем результата. Выходит доктор. «Вывих,— говорит,— у мальчика и растяжение. Полежит у нас немного, снова будет по деревьям лазить...» Тут я фуражечку снял, раскланялся и — к машине.

У планетария — снова пассажирка. Одна. Молодая, понимаешь, симпатичная женщина. Ехать к Рижскому вокзалу за вещами. Нет, не на вокзал, не в камеру хранения. На квартиру. А оттуда с чемоданами на улицу Герцена... Пассажирка сзади сидит. В зеркальце вижу: грустная, краешки губ подрагивают. «Похоже,— говорю,— вы с мужем разводитесь, гражданочка?» А она зарделась, вспыхнула вся. «Как вы,—говорит,—догадались?» «А я,— говорю,— физиономист. По лицу все читаю. К тому ж могу посочувствовать: сам перед разводом. Характерами не сошлись...» «Вот и мы,—говорит,— не сошлись. Он жестокий, каменный человек...» Подъехали к дому, я с ней наверх поднялся, на третий этаж, чтобы с чемоданами помочь. И правильно сделал. Муж ее, как мы вошли, прилепился к стене, руки на груди скрестил и не шевельнулся, пока она вещички собирала. Я два чемодана тащил, она авоськи. Он и на прощание-то слова не вымолвил. Вот уж действительно каменный дядька. «Не огорчайтесь,— сказал я, когда мы сели в машину.— Этот человек недостоин вашей любви. У вас все впереди. Вы еще встретите свое счастье...» Ехала она к своему брату. Будет жить пока у него в семье. На работе ей обещали комнату... Брат ждал у ворот. «Вот этот человек,— сказала она брату,— скрасил мне, Володя, трудную минуту. Я не чувствовала себя одинокой». «Спасибо вам, товарищ!» — сказал Володя, подхватил чемоданы и понес во двор. А я дальше поехал, за новыми пассажирами.

Ну и намотал я в тот день! Пол-



Франсуа Буше. 1703—1770.

ПАСТОРАЛЬ. 1745—1750.

Жан Батист Камиль Коро. 1796—1875.
ОЗЕРО В ЛЕСУ. 1850-е годы.



Констан Тройон. 1810—1865. ОТПРАВЛЕНИЕ НА РЫНОК. 1859.

ную катушку. Два плана сделал. В двенадцать — кончаю. А в начале двенадцатого у Никитских ворот последнюю пассажирку посадил. Собиралась домой, на Ярославскую, а по дороге, у Колхозной, передумала—в Медведково. К дочери, на новую квартиру. Неделю у них не была, по внучке соскучилась. Тем более, впереди три дня отгула. Спрашиваю, где работает. «Профессия,— говорит,— у меня самая чистая, людям свет открываю...» Я гадал — не угадал, что за специальность такая, чтобы людям светло было. «Я,— говорит,— стеклопротирщица, высотница. От артели работаю. Моя точка — Политехнический институт в Мазутном...» Едем — слушаю. Очень мне интересна чужая жизнь. Наверно, оттого, что собственная невесело сложилась.

...Чувствую, что Искандер уведет меня сейчас далеко-далеко от эпизода на Яузе. Но я не перебиваю. В таких случаях нельзя перебивать. Это я уж по опыту знаю.

И вот передо мной горькая, извилистая судьба человека, юность которого пришлась на середину тридцатых годов.

В семнадцать лет — арест, в семнадцать — враг народа. Сказано было: «Сын за отца не отвечает». А он за дядю ответил. Дядя был из ленинской гвардии, партийный работник в Москве. Взял на воспитание племянника, сына умершего брата. Сначала все, как у сотен тысяч: школа, фабзавуч, завод. Потом — одна ночь враз все сломала, раздавила, отняла кров, работу, право на жизнь в Москве. Куда? Поехал на родину, в Ашхабад. В пути проверка документов. А он без паспорта. Ссадили. Честно рассказал о дяде. И был осужден как «социально опасный элемент» на три года. Под самый конец срока — нелепый, безрассудный поступок голодного парня. На прогулке в тюремном дворе увидел в окошко пекарни буханку хлеба. Бросился, разбил стекло, окровавленными пальцами схватил хлебушек, начал запихивать в рот, кусать, давиться. Новый приговор: «за тюремный бандитизм» — десятка. Лагерь в Воркуте. Через десять лет — снова в Ашхабаде, на родине. Есть работа. Будет семья. Нет, не будет семьи. Была еще одна страшная ночь в его жизни, в жизни всего города. Землетрясение. Погибла любимая им женщина, с которой они должны были стать мужем и женой. Погибли двое ее мальчиков, которых он собирался усыновить. Он похоронил их. Двенадцать дней, почти не зная сна, он летал санитаром на самолетах, вывозивших в Ташкент раненых. А потом он уехал в Москву...

— Я, понимаешь, отвлекся, а вы меня не остановили. Едем, значит, в Медведково с гражданкой, которая окна моет. Мне уже известно и про ее дочь и про внучку. Теперь — про сына. Он в солдатах. Скоро ждет его домой. «А вон мой дом,— говорит,— проехали». Метро. Поворот на Сокольники, нам — мимо. Дорога под уклон. Поворот под мост через Яузу, вот это — нам. Только я свернул, слышу милицейские свистки. Стрельба. Раз пальнули, другой. Тормознул, выскочил из машины.

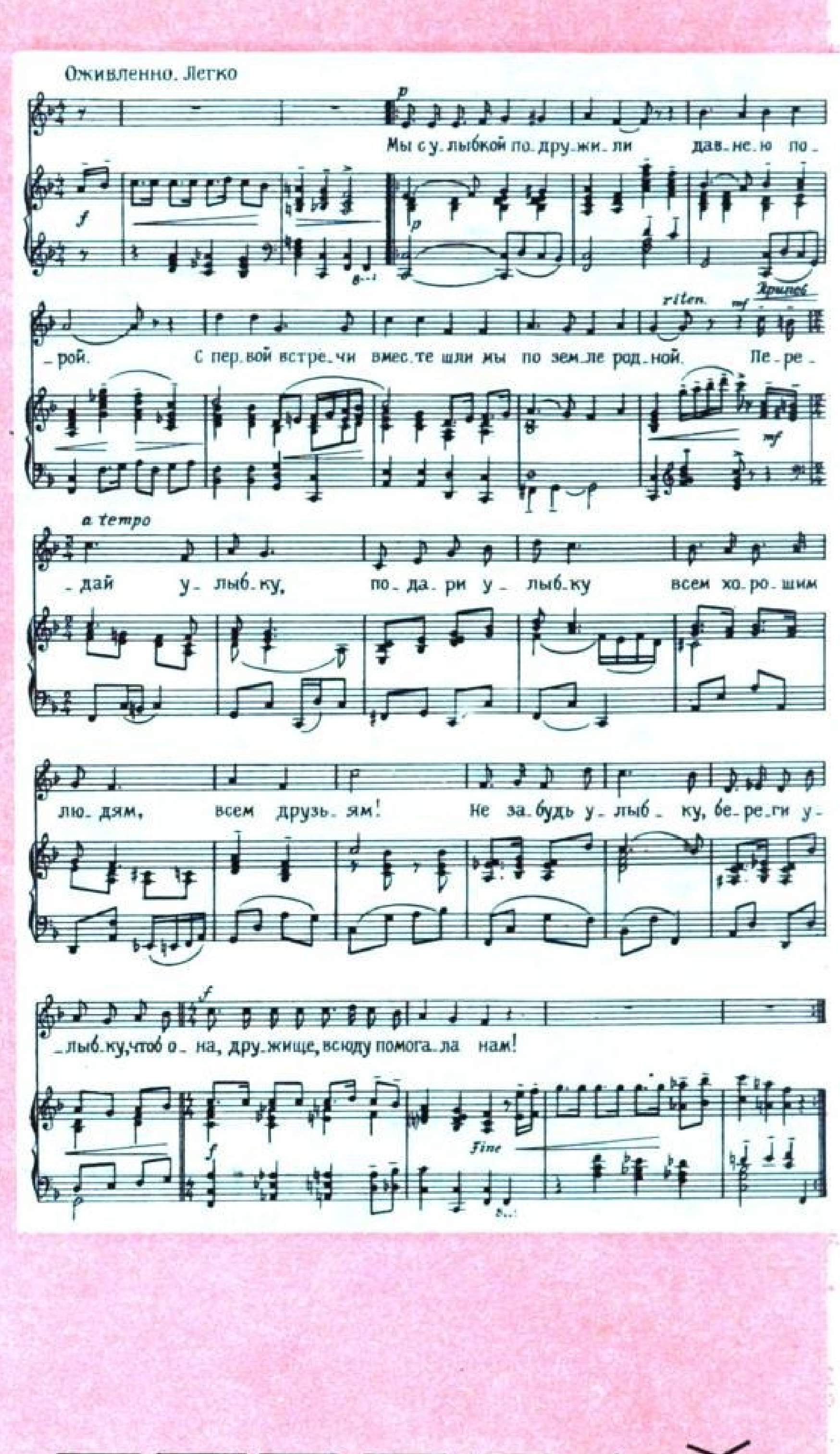
Вглядываюсь в темноту. Милиционер бежит. А в воде что-то белеет. То исчезнет, то вынырнет. Человек плывет. Ночью — странное купание, да еще под стрельбу. Кричит милиционер, а что — не разобрать. Ясно только, что погоня. «Извините!» — говорю пассажирке и сбрасываю пиджак, брюки, часы с руки. Тапочки скинул— в носках остался, пожалел потом об этом, ступни искровянил... Бегу вдоль берега, натыкаюсь на железяки, на колючую проволоку. Сквозь кусты, через тину — в реку. Хочу наперерез. По всплескам, по интервалам между ними вижу, что плавает неплохо. Ну и я — ничего. Пусть спортивный разряд у меня не по плаванию, по классической борьбе. Но через день в бассейне, это что-нибудь да значит. Вот уже не только всплески, дыхание слышу. Достану! Он, наверно, оглядывался, видел, что за ним плывут, дыхание мое тоже слышал. И вдруг, ухватившись за корягу на середине реки, поднялся во весь рост. Мель, значит, в этом месте. Что ж, перейдем от состязания в плавании к схватке «на ковре». Дядька здоровый, длинный, а снизу кажется еще выше. Руки вытянул, цедит сквозь зубы: «Не подходи, не подходи...» А я не подойду, я прыгну. Прыжок из воды вверх. И правая его рука, кисть ее, в моей левой. А правая моя ухватила предплечье. Секундный болевой прием, работаю против суставов,—вот так, чувствуете? — и он валится на спину в воду. Хлебнул Яузы, замолк. Тащу по воде, верней, через тину к берегу. К левому. Выволок. Не дышит? Дышит. Куда его теперь? Машине сюда не подъехать — овраг, рвы, болото.

С правого берега голоса. Набралось там народу. Патрульная машина появилась. Осветила нас с дружком фарами. Видят, живой я, невредимый. Кричат: «Справишься? Помощь нужна?» А что помогать? Активного, к бою готового взял, скрутил, а в бесчувственном виде я его как-нибудь уж доставлю. Взвалил на спину, как утопленника, и поплыл на ту сторону. Милиции полно, еще одна патрульная подкатила. Решают: куда его класть? Оба мы в тине, в мазуте. Лейтенант говорит: «Слушай, таксист, тебе все равно грязному машину пачкать — бери его к себе». Подтащили «пловца» к моей «Волге». Пассажирка там еще. Спрашивает: «Где мой шофер?» Ей на меня показывают, не узнает: черный я и зеленый. Расплатилась со мной, рубль восемьдесят по счетчику. За стоянку я не взял. Пошла домой, благо близко живет. «Завтра уж,— говорит,— к дочери». Адресок мне свой дала, приглашала... И повез я этого типа в отделение. Там врач, сестра, ему укол противостолбнячный, мне укол. Не давался я сперва: ужасно не люблю, когда колют... Вымылся в милицейском умывальнике, протокольчик подписал. Семь лет, оказывается, искали моего приятеля. Рецидивист... Только к двум часам ночи попал я в гараж и до утра машину отмывал... Вот и все.

Вот и все. Добавлю лишь про реакцию Искандера на мой рассказ о случае с Юрием Власовым. Помните?

— Шпана,— сказал Мустафаев про того шофера.

И еще хочу добавить, что после встречи с Искандером — независимо, конечно, от этого, но в какой-то степени символично — отношения мои с московскими таксистами стали улучшаться. И зеленые огоньки не пролетают мимо, когда взываешь к ним, и на стоянках сразу соглашаются везти. Не сглазить бы.



ПЕРЕДАЙ УЛЫБКУ

Музыка Семена ЗАСЛАВСКОГО. Слова Якова ХАЛЕЦКОГО.

Мы с улыбкой подружили
Давнею порой.
С первой встречи вместе шли мы
По земле родной.

Припев:

Передай улыбку,
Подари улыбку
Всем хорошим людям,
Всем друзьям!
Не забудь улыбку,
Береги улыбку,
Чтоб она, дружище,
Всюду помогала нам!

Если где-то трудно было
Одному из нас,
К нам улыбка приходила
С другом каждый раз.

Припев.

Как никто, она умела
Подбодрить друзей.
И с улыбкой вновь за дело
Мы брались смелей.

Припев.

ВИОЛЕНСИА — СМЕРТЬ ИЗ-ЗА



Это виоленсиа.

Да простят меня собратья по перу — ссылка на разговор с шофером такси считается не лучшим журналистским приемом. Но все же именно шофер такси оказался первым колумбийцем, с которым я вступил в беседу, выйдя из модерн-аэропорта «Эльдорадо» в Боготе.

Шофер попался разговорчивый. Через три минуты я знал более или менее досконально его житейские проблемы. Он пока ничего не знал о пассажире.

— Сеньор американец? — наконец не выдержал он.

— Нет.

— Англичанин, немец, француз?

— Тоже нет.

— Кто же вы, сеньор?

— Я из Советского Союза.

Машина едва не врезалась в затормозивший впереди грузовик. Мой колумбийский собеседник как-то настороженно оглядел меня:

— Знаете что, больше никому не говорите об этом.

— Почему?

Ответа не последовало. Чуть погодя шофер неохотно обронил:

— Виоленсиа.

Виоленсиа в переводе с испанского — насилие. Ну и что? Шофер молчал.

Мы въезжали в предместья Боготы — старые, закопченные дома, булыжная мостовая, по ней неслись мутные потоки воды. По пустым улицам торопливо шагали одетые в темное сосредоточенные люди. На дождь они не обращали внимания.

После шумного, солнечного Рио-де-Жанейро все это выглядело не очень приветливо. К тому же этот вдруг ставший молчаливым шофер. Нехорошо, когда приезд в незнакомый город начинается с загадок.

— Никаких загадок нет,— сказал на следующее утро мой хороший знакомый, журналист Теодосио Варела.— Просто ты еще не знаешь, что такое виоленсиа. И вот еще что,— добавил он,— тебе не стоит одному ходить по улицам.

Так снова пришлось услышать это зловещее слово. Потом оно сопровождало меня чуть не целый месяц, с утра до вечера. Всякий раз, услышав его, только что смеявшийся, веселый колумбиец становился мрачным.

— Виоленсиа, виоленсиа! — раздраженно говорил во дворце Сан-Карлос в Боготе помощник президента Колумбии по печати Руэда Арсиньегос.— Будто в стране нет ничего другого.

В большом кабинете старого, в чисто испанском стиле дворца с бесконечными переходами-галереями и неизменным двориком-патио внутри — там перед пулеметом на высоких ножках разместились солдаты в касках — было холодно и неуютно. И беседа протекала не очень сердечно.

— Был у нас тут недавно известный репортер западногерманского телевидения,— продолжал сеньор Арсиньегос.— Он вернулся домой, и — что же? — телезрители узнали только о виоленсиа. Неужели в Колумбии нет ничего более интересного?

В Колумбии, невероятно богатой и сказочно прекрасной стране, несомненно, масса интересного. Задавленная американскими монополиями, изнемогающая под бременем выпавшей на ее долю несладкой участи витрины «Союза ради прогресса», страна эта вопреки всему действительно движется вперед. За последние годы она добилась известных успехов в промышленном развитии. Новые важные процессы видны и в ее политической жизни. Здесь поднялось сейчас широкое движение за восстановление дипломатических отношений с Советским Союзом. Среди политических лидеров нации выдвинулись новые, более широко мыслящие люди. Они оказались даже в правительстве.

И все-таки в стране рекой льется людская кровь. Колумбию захлестнула волна чудовищных насилий — виоленсиа. Даже по официальным данным, за последние 15 лет их жертвами стали 200—300 тысяч человек. По другим, возможно, более точным сведениям,— 500 тысяч, полмиллиона, много больше того, что США потеряли за всю вторую мировую войну. Это в Колумбии с ее 15-миллионным населением!

Начало трагедии колумбийского народа положили террор и насилия кровавых диктатур, начиная с 1947 года одна за другой приходивших к власти.

Созданные реакцией банды пытались огнем и мечом подавить оппозицию, подвергая демократов зверской расправе. Банды росли, как грибы. В ответ родилось народное сопротивление, принявшее характер партизанского движения.

Долгие годы длилась эта «необъявленная гражданская война», как ее называют в Колумбии. 10 мая 1957 года массы свергли военную диктатуру Рохаса Пинильи, консервативная и либеральная партии—смертельные соперники — поделили власть, объявив «мир» в стране. Но виоленсиа не ушла из жизни колумбийцев. Сотни, если не тысячи банд продолжают действовать на огромной части страны.

Кое-кто утверждает, что банды эти не имеют ничего общего с политикой, что они никого не представляют. Пущена в ход даже отдающая просто расизмом версия, что, мол, насилие, жестокость — в природе колумбийских крестьян.

Все это ложь. В стране действительно немало шаек орудует с целью грабежа. Но не они делают погоду.

Трагедия Колумбии в том, что в стране существует официальный бандитизм и носит он чисто классовый характер. Латифундисты, военщина используют его для расправы над крестьянами, для борьбы против созданных крестьянами организаций самообороны, для подавления любой оппозиции.

Под предлогом борьбы с бандами во внутренних районах действуют части колумбийской армии. То, что они творят, расправляясь с крестьянами, мало отличается от преступлений самих бандитов. В великолепный испанский язык, на котором, по Ломоносову, надлежит говорить с богом, в Колумбии вошли новые, страшные и омерзительные слова. За этими словами скрывается страшная колумбийская действительность. Вот некоторые из этих дьявольских неологизмов. «Аорита» — в переводе это что-то вроде «один момент», «минуточку». «Аорита» — банда платных убийц. В одно мгновение, как молния, они обрушиваются на ничего не подозревающую деревню и поголовно вырезают всех: мужчин, женщин, стариков, детей. При этом совершаются бесчеловечные насилия и гнусности.

Появилось всем теперь известное выражение «корте де франела», в очень приблизительном переводе—«горлорезка». Это наиболее распространенный метод расправы бандитов — ударом мачете вырубают у жертвы горло.

Есть еще слово «болетео» — «подметное письмо». Его подбрасывают крестьянину под дверь дома. Адресату, иногда в довольно изысканных выражениях, предлагают вместе с семьей в 12 или 24 часа покинуть дом и землю. Если приказание не выполняется, семью вырезают. Получив болетео, крестьянин собирает пожитки — за 12 часов он, конечно, не может никому продать недвижимость—и в панике убегает. Земля и дом его обычно достаются латифундисту. До 1957 года только в департаменте Толима так было брошено 94 тысячи участков.

Преступная колумбийская военщина не отстает от бандитов. Здесь вышла недавно жуткая книга. Ее автор прелат Герман Гусман с документальной точностью, день за днем, описывает 15-летнюю историю виоленсиа.

Вот что говорит он о действиях одного из армейских отрядов в районе города Армеро: «Командир отряда, сержант по фамилии Мира, приказывает запереть в одном из домов более 60 человек. Дом обливают бензином и поджигают. Сопровождаемое нечеловеческими криками, в небо взметается пламя. Крыша рушится, и больше ничего не слышно. Пахнет жареным человеческим мясом».

И еще одно беспристрастное свидетельство монсеньера: «Один военный, занимающий высокий пост, сообщил имя офицера, который приказывал совершать набеги на крестьян и приводить ему 15-летних девушек. Несколько дней спустя он отдавал их таким же потерявшим человеческий облик подчиненным».

Совсем недавно солдаты батальона «Хенераль Канседо» зверски убили в Натагаиме 16 руководителей крестьянских организаций, в том числе нескольких коммунистов. У них отрезали головы и несли их впереди процессии, в которой заставили участвовать жен и малолетних детей убитых. Авторов этого злодеяния потом наградили.

В это же время в районе Ибаге армейский патруль убил двух парнишек, 12 и 13 лет. У них тоже отрезали головы, руки и ноги, обрубки выставили на всеобщее обозрение...

Весь мир облетела весть о преступлении, совершенном несколько месяцев назад в районе Васкес. Самолеты типа «Каммас», предоставленные Колумбии Соединенными Штатами Америки, сбросили 39 бомб на крестьян, собравшихся на митинг солидарности с рабочими действующей здесь американской нефтяной монополии «Тексас петролеум компани». Сто крестьян было убито. Вашингтон щедро снабжает колумбийскую военщину также вертолетами, орудиями и инструкторами. В Колумбии говорят, что армией страны фактически руководит американская военная миссия.

Виталий КОБЫШ

Фото колумбийского фоторепортера Нерео.



Особой свирепостью известен в стране батальон «Коломбия», которым командует полковник-садист Матальяна. Этот батальон — единственное воинское подразделение латиноамериканского континента, принявшее в свое время участие в преступной войне в Корее. У Матальяны, таким образом, богатый опыт. Он устроил в районе Армеро концентрационный лагерь. Крестьян здесь держат в клетках, сделанных так, что заключенные в них не могут спрятаться от палящего солнца. Многие сходят с ума. Полковник объяснил, что он так добивается «признаний».

Виоленсиа проникла и в города Колумбии. За несколько дней до моего приезда в Боготу в этом городе произошло взволновавшее страну событие.

Видный прогрессивный деятель, защитник крестьян, известный юрист Эрнандо Гаравито Муньос шел по центральной площади Боготы с коллегой — местным депутатом. Раздался выстрел, другой, еще один, всего пять,— три пули вошли в спину Муньоса. Преступник стрелял не торопясь, деловито, среди бела дня. Спутник Муньоса выстрелил в бандита. Пуля попала ему в руку, он выронил пистолет и убежал. Пистолет оказался точно таким, какие находятся на вооружении колумбийской армии. Полицейские и не пытались догнать преступника.

Когда истекающего кровью Муньоса привезли в больницу, он был почти трупом—одна пуля попала в плечо, другая — в печень, третья прошла через легкое. Студенты Боготы сдали в больницу 200 литров крови. Десять дней шла борьба за жизнь патриота. И произошло чудо: Эрнандо Гаравито Муньос не умер. Во многом это заслуга его сестры Люсии, медика по профессии.

Муньос рассказал, что незадолго до покушения он направил в Организацию Объединенных Наций послание, в котором возлагал на власти ответственность за насилия — виоленсиа. Ему стали по ночам звонить домой и угрожать расправой.

— Это, конечно, дело рук «С-2»,— сказал Муньос.

«С-2» — зашифрованное название секретной службы колумбийской армии. Здесь известны еще «Ф-2» — секретная полиция, «М-2»—секретная служба военно-морского флота и «А-2» — авиации.

* * *

— Теперь ты знаешь, что такое виоленсиа,— сказал Теодосио Варела.

Мы шли с Теодосио по центру Боготы, как раз там, где стреляли в Муньоса.

День близился к концу, улицы были полны людей, не верилось, что где-то тут витает смерть.

Мой приятель хромал. Два года назад в него тоже стреляли, и почти на этом же самом месте. Стреляли, собственно, в его отца — популярного крестьянского лидера, в него попали случайно. Он почти год пролежал в больнице, ногу, в которую попала пуля, удалось спасти.

— Муньос попросил,— сказал Теодосио,— чтобы к нему в больницу привезли советского корреспондента.

В воскресенье к вечеру с несколькими колумбийскими друзьями мы приехали в больницу.

В палате был полумрак. Муньос лежал на спине, укрытый до подбородка простыней. Глаза его были закрыты. Услышав наши шаги, он приподнял голову с подушки и показал рукой на стулья.

— Салюд, компаньерос.

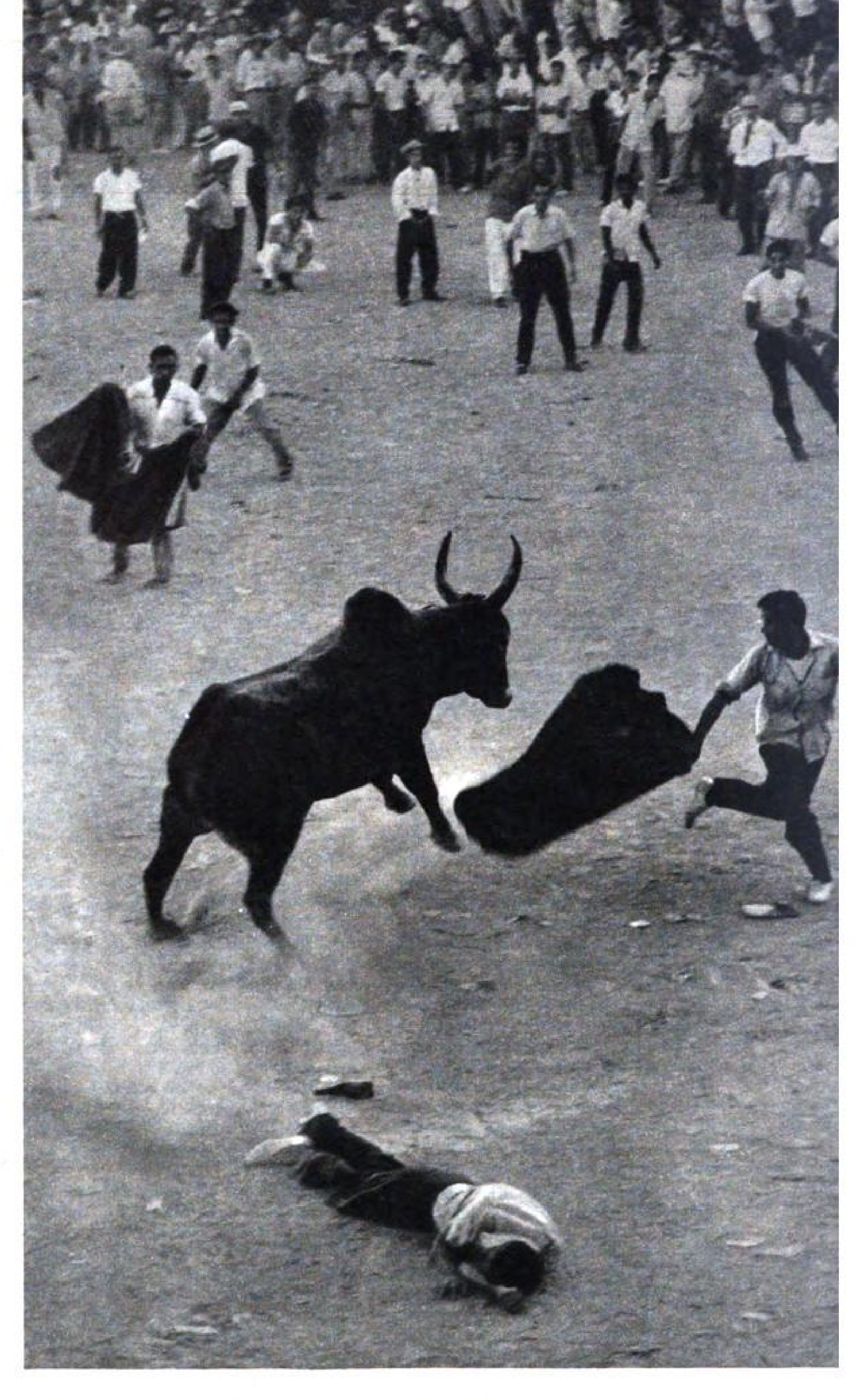
Был он прозрачный, как пергамент, густая черная борода еще больше подчеркивала это.

— Вот так, живу вопреки всем законам биологии. Врачи делают вид, что так и должно быть, а сами удивляются,— сказал он.— Но теперь уже, кажется, все, выполз, так что повоюем.

— Эрнандо, тебе нельзя разговаривать,— сказала Люсия.

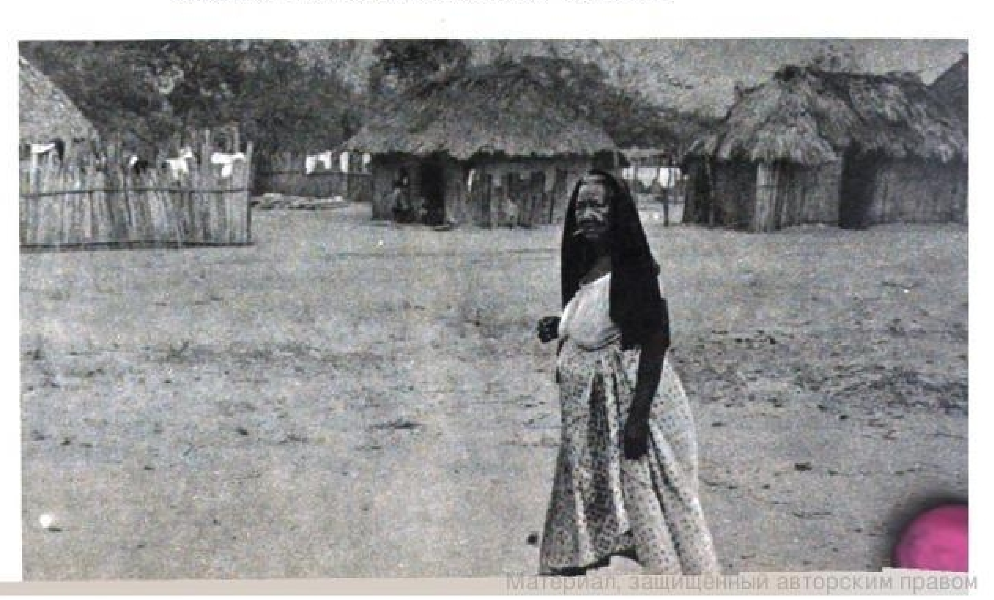
— Еще одну минуту, Люсия,— попросил Муньос.— Компаньеро, расскажи советским людям о том, что ты увидел у нас. Это будет тяжелый рассказ, но ты должен это сделать. Пусть люди знают правду. И еще, пусть они знают, что мы не боимся выстрелов в спину.

Муньос закрыл глаза. Мы тихо вышли из палаты.



Бой быков в Колумбии — почти то же, что в Испании. На этом сельском празднике победителем стал разъяренный бык.

Испанские конкистадоры завезли в Колумбию негров, чтобы они намывали золото, которого здесь больше, чем в любом другом месте Южной Америки. Часть негров убежала и основала на побережье Карибского моря поселок, который вы видите на этом снимке. Было это несколько столетий назад. И кажется, что с тех пор время остановилось в этом забытом богом поселке...



Лев ФИЛАТОВ

ФУТБОЛ



Фото А. Вочинина и ЦАФ — ТАСС.

До тех пор, пока наши тренеры не станут хорошо заниматься с мальчишками-футболистами, мы будем терпеть неудачи вот в таких матчах...



Отборочный матч олимпийских команд СССР—ГДР в Варшаве. Как известно, немецкие футболисты, победив со счетом 4:1, получили право выступать на XVIII Олимпийских играх в Токио.

В самом деле, что у нас по футболу? Какую годовую оценку следует выставить? Школьный учитель в таких случаях заглядывает в журнал, складывает текущие отметки, обязательно задумывается: а каков он вообще, этот ученик? — и потом уже выводит средний балл.

Посмотрим, как у нас определяется футбольная успеваемость.

1958 год. Дебют на чемпионате мира в Стокгольме, проигрыш четвертьфинального матча шведам. Сезон объявлен неудачным.

1959 год. Олимпийская сборная проигрывает в Софии и оказывается за бортом Римских игр. Снова жестокий огонь критики.

1960 год. Сборная СССР привозит из Парижа Кубок Европы. Круглые «пятерки»!

1961 год. Победоносное турне по Южной Америке, выигрыш отборочного турнира к XVII чемпионату мира. Все хорошо.

1962 год. Поражение в четвертьфинале чемпионата от чилийцев. Все плохо.

1963 год. Выигрыш у Италии — главное событие. Опять все хорошо.

Наконец, 1964 год. Поражение в финале Кубка Европы и неудача олимпийцев. Снова все плохо.

Так повелось, что окончательный балл всему сезону выставляется в прямой зависимости от результата одного-двух матчей, и, как вы видите, за последние семь лет четыре раза он падал и три раза взлетал вверх. Ну прямо как на качелях!

Для того же учителя блестящий ответ троечника или срыв отличника никогда не будут решающими. Он знает, кто чего заслуживает. А тут невольно возникает вопрос: знаем ли мы как следует свой футбол, отдаем ли себе ясный отчет в его силах, возможностях и слабостях? Мудро ли все проблемы, решенные и нерешенные, всю сложную жизнь большой и красивой игры, получившей власть над миллионами сердец, связывать с одним каким-либо матчем, пусть и очень важным? Как видно, для наших организаций, ответственных за футбол, такая практика очень удобна. Удача сборной команды позволяет им сделать вид, что дела идут отлично. В случае же неудачи можно привести в движение испытанное средство устной и письменной самокритики (сколько раз мы были тому свидетелями!) и втайне надеяться, что следующий сезон окажется счастливее, тучи над головой рассеются и все будет забыто.

Представим на минуту, что наша олимпийская команда пробилась в Токио и имела там успех. Не бог весть какая фантастика: ведь однажды в Мельбурне это удалось. Тогда, надо полагать, считалось бы, что все хорошо в нашем футболе и зимовать можно спокойно.

Да, конечно, такая победа всех нас порадовала бы. Но была бы она в силах, как говорится, снять все вопросы?

Назовем эти вопросы хотя бы в самом общем виде.

Ни для кого не секрет, что в минувшем сезоне нам редко приходилось встречаться с хорошей игрой. Чем ближе к осени, тем все больше разочаровавшихся болельщиков оставалось дома, и зияющая пустота трибун становилась самой выразительной рецензией многим матчам чемпионата.

Было зафиксировано дальнейшее падение результативности форвардов. Даже у лидеров. Приз имени Григория Федотова, присуждаемый команде, забившей наибольшее число голов, вручен московскому «Торпедо». В среднем за матч торпедовцы забивали 1,62 мяча. Это самый низкий коэффициент за все семь лет существования приза. В 1958 году московский «Спартак» имел 2,50, то же «Торпедо» в 1961 году — 2,27, в 1962-м — 2,00.

Из футбола исчезает фабула, увлекательность — едва ли не самое яркое его достоинство. Вы же помните сколько угодно случаев, когда одна из команд открывала счет на первых минутах и вы в предвкушении потирали руки; вам казалось, что это завязка интриги, а спустя полтора часа выяснялось, что тот гол был развязкой. Шутка сказать, за весь чемпионат лишь в 17 случаях команда, первой пропустившая гол, выходила затем победительницей! И только однажды московскому «Динамо» во встрече с ростовским СКА удалось, проигрывая 0 : 2, забить в ответ три мяча. Одним словом, дождавшись гола, теперь можно ехать домой, и риск ошибиться совсем невелик.

Много ли за год открыто молодых футбольных талантов, как принято говорить, новых имен? Боюсь, что, назвав тбилисца Рехвиашвили, киевлянина Банникова и торпедовца Щербакова (последних двух мы знали и раньше), нам с вами нелегко будет продолжить этот счет.

Стало модным сваливать все беды на систему четырех защитников, рассуждать об особых трудностях переходного периода. Но ведь система в наши дни у всех одна. И такие ссылки напоминают попытку оправдать поражение мокрым полем, словно победители находились на соседнем.

Эленио Эррера, тренер итальянского клуба «Интернационале», привел свою команду в этом году к победе в Кубке европейских чемпионов, а потом и в межконтинентальном Кубке. Успех, казалось бы, выдающийся. Но некоторые западные спортивные обозреватели забили тревогу. Они разглядели сознательное стремление Эрреры к гарантированному счету 1 : 0 любой ценой. Они выражают опасение, что пример этого циничного стратега, для которого превыше всего заработок и карьера, может оказаться заразительным.

Я больше чем уверен, что нашему футболу эта зараза не страшна. Ни один наш тренер не станет нарочито искажать игру, приносить ее в жертву конъюнктуре. Защитные тенденции ряда команд нижней половины таблицы не что иное, как откровенное признание слабостей. Да, они жмутся возле своих ворот, и матчи с их участием обычно выглядят скучно и однообразно. Но это скорее не их вина, а беда, потому что уж очень сурова борьба за место в высшей лиге, а удержаться всем хочется. Вероятно (опять старый и нерешенный вопрос), первая группа класса «А» слишком многочисленна, и ее состав не отвечает спортивным интересам.

Советский футбол издавна сложился как атакующий. Наши команды на международной арене крайне редко проигрывают из-за непрочности обороны, у нас во все времена было достаточно умелых и отважных защитников. Скажем, недавний проигрыш товарищеского матча сборной Австрии (0 : 1) грешно было бы свалить на защитников. В этом счете «ноль» куда более тревожен, чем «единица».

И вот парадокс: нашему атакующему футболу недостает как раз надежности в атаке. Много ли команд мы можем безоговорочно отнести к разряду атакующих? Три призера — «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо», ЦСКА, — ну и, по-

жалуй, еще киевское «Динамо». Причем все они стремятся атаковать вовсе не оттого, что игроки превзошли теорию новой системы или сердца их полны особой отваги. А почему?..

Тут мне хочется припомнить матч в Ташкенте. Откровенно говоря, я поехал на этот матч в надежде хоть напоследок увидеть большую игру, возместить многие часы, понапрасну проведенные в ложе прессы Лужников, попытаться разобраться, чего же недостает нашему футболу, и, наконец, просто для того, чтобы поднять себе настроение перед тем, как сесть за эту статью.

ЬНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ

Правда, меня предупреждали, что и эта игра может не получиться. Доводы выглядели веско: под грузом необычайной ответственности команды изберут закрытый вариант, и борьба пойдет монотонно, натянуто, удары будут наноситься не столько по воротам, сколько «из подворотни». Вы понимаете, что голоса эти принадлежали не дилетантам, а людям бывалым, немало повидавшим. Но верить им почему-то не хотелось. А кроме того — и это самое важное,— ни тбилисцы, ни автозаводцы не были замечены в неблаговидном оборонительном истолковании игры, и было странно предположить, что они могут вдруг струсить, изменить обыкновению и тем самым отказаться от своих достоинств, благодаря которым вышли в лидеры.

Ташкентский матч удался на славу. Он выглядел как движение маятника. Обе команды защиту рассматривали как необходимость, суть и радость игры для них заключалась в атаке. Именно поэтому легко и приятно верилось, что на поле сошлись истинные лидеры года. И если задаться вопросом, в чем причина победы тбилисцев в этом матче, то ответ один: у них нашлось больше искусных форвардов, чем у москвичей. Стоило В. Иванову, лучшему нападающему «Торпедо», уйти с поля, и игра его молодых партнеров сразу приобрела все черты шаблона. Тбилисцы же до самого конца что-то придумывали, затевали, искали. Каждый из четверки форвардов по-своему был предприимчив и грозен.

Между прочим, если этот матч рассматривать как своеобразный малый чемпионат, то тбилисцы завоевали в нем, кроме золотых медалей, еще и приз крупного счета (4 : 1), и приз за волю к победе (первыми пропустив гол, они все-таки одержали победу), и приз лучшему бомбардиру (И. Датунашвили — два гола).

Вот и был дан в Ташкенте простой и ясный ответ: хороший футбол — это хорошие форварды, атакуют же команды, где есть кому атаковать.

И надо нам признать, что сейчас наш футбол беден форвардами.

Ведь полностью не укомплектованы атакующие линии даже призеров чемпионата, не говоря об остальных командах. В московском «Спартаке», например, лишь к Г. Хусаинову не было претензий, как в московском «Динамо» к И. Численко. Отсюда и сдача позиций этими командами. 22 ноября наша сборная играла в Белграде. Бросалось в глаза, что всю линию форвардов составили игроки, которым естественнее выступать на краях. Настоящих центральных нападающих тренеры не сумели отобрать даже для сборной.

Так возникает разрыв между замыслом и исполнением. Лучшие намерения команды не в силах реализовать. Вроде бы и есть атакующий футбол, а меткие попадания в ворота редкость. Верность традициям и идеям, как известно, полагается доказывать не на словах, а делом.

Где же взять форвардов? Несколько лет назад при команде мастеров были созданы группы подготовки юных футболистов. Затея хорошая. Под руководством специальных тренеров мальчиков обучают игре, и, пройдя курс футбольных наук, они должны пополнять основные составы. Кажется, все продумано и вполне логично. Однако пополнение из этих групп пока поступает скупо, как капли из пипетки. В восемнадцать лет футболист уже выпускник, но, как правило, далеко еще не мастер. И на этой своеобразной переправе обычно бывают большие потери. Вместе с тем считается, что проблема подготовки кадров созданием групп вроде бы полностью разрешена. Вот это как раз опаснее всего.

Мне кажется, что, создав группы, Федерация футбола тем самым ограничила всю сложнейшую проблему отбора и поисков способных юношей. Но совершенно ясно, что розыск надо вести не только среди сотен ребят, обучающихся в группах, а среди десятков тысяч мальчишек, участвующих в организованном футболе. Должен же наконец футбол мастеров получить широкую поддержку от футбола массового, где насчитывают, кажется, уже более двух миллионов игроков! Иначе чего же стоят все эти астрономические цифры (мальчишек в них не меньше половины)? В конце концов для 17 команд, как известно, требуется всего 68 форвардов. Тут, конечно, речь должна идти об определенной системе в поисках. Возможно, самим клубам надо иметь специальных людей, которые бы постоянно несли эту службу, и, с другой стороны, нужно как-то заинтересовать многочисленных тренеров, работающих с ребятней, чтобы они сообщали о своих лучших учениках. В общем, нужно сито, и помельче.

Давно замечено, что юные футболисты, изредка приезжающие к нам из-за рубежа, как правило, показывают более умелое исполнение технических приемов, чем наши. Так нельзя ли серьезно и досконально изучить педагогический опыт тренеров, скажем, Венгрии и Чехословакии? И не путем экскурсий и перевода статей, а пригласив их поработать в наших юношеских футбольных школах.

Вернемся к ташкентскому матчу. Он был на редкость взволнованным, накаленным, заставил обе команды выложить на поле все свои козыри. Получился самый что ни на есть большой футбол. Хотя и понятно, что подобная игра не может быть показана в каждой встрече чемпионата, невольно думалось: вот так бы почаще! Потому что только в серьезнейших испытаниях игроки становятся мастерами, закаляют характер. Встречи такого рода воспитывают победителей.

Между тем даже наши ведущие команды переживают мало настоящих встрясок. Чемпионат в конце концов привычен и будничен, в нем много матчей, которые заранее легко отнести к разряду ординарных. Не из-за отсутствия ли достаточной боевой закалки молодых игроков никак не удается создать сильную, целеустремленную как олимпийскую, так и молодежную сборную?

Мне хочется внести предложение. У советских легкоатлетов вошли в традицию ежегодные встречи с американцами, которые именуются «матчем гигантов». Нечто в этом роде можно установить и в футболе. Скажем, матч СССР — Англия. Половина наших клубов выезжает в Англию, остальные принимают гостей. Пары подбираются соответственно результатам в прошлом чемпионате. В один день проводятся на разных полях двух стран, предположим, 17 игр (я имею в виду всю нашу высшую лигу). Времени такой матч займет немного, зато интерес к нему и у нас, и в Англии, и во всем мире обеспечен. Нетрудно предположить, что каждый клуб к встрече отнесется со всей ответственностью, и нет сомнений, что качество футбола и накал игры будут высокими. Хорошо бы Федерации футбола этим заняться!

Мы с вами начинали с рассуждения о годовой оценке. И вы вправе спросить: так что же, «двойка» или «тройка»? Да полно, надо ли этим заниматься! Не такой уж он школьник, наш советский футбол. Как раз и плохо, что с ним пытаются обращаться, как с ребенком: выиграл главный матч — гладят по головке, проиграл — ставят в угол. Ничего, кроме шума, ажиотажа, трепки нервов, такое обращение не создает. А футбол, как и любое серьезное дело, требует спокойного, терпеливого отношения и деловитости.

В футболе принимаются в расчет большие цифры или, другими словами, сумма результатов за много лет, создающая и объективное цифровое представление и определенный авторитет, обычно не подверженный заметным колебаниям. Скажем, англичане не выигрывали звание чемпиона мира, регулярно терпят неудачи и в Кубке Европы и в Кубке европейских чемпионов, но никому и в голову не придет отозваться об их футболе неуважительно. Чем бы ни кончались встречи наших команд с английскими, мы всегда воздаем должное соперникам, все равно, победители они или побежденные.

Советский футбол, по существу, появившийся на мировой сцене лишь в 1952 году, успел собрать увесистую сумму и завоевать высокий международный авторитет. И тут нам нечего скромничать. Французский журнал «Франс футбол» недавно засвидетельствовал, что, по подсчетам статистиков, сборная СССР имеет лучшие результаты в Европе за последние пять лет.

Ни в одном другом виде спорта нет такого числа соискателей высших призов, как в футболе. Соискателей с примерно равными шансами, вполне серьезно нацеливающихся на любые награды, вплоть до «Золотой богини». Не говоря о клубах, по самому приблизительному подсчету, около 20 сборных команд разных стран мало в чем уступают друг другу. Поэтому трудно представить, чтобы на длительный срок могла установиться абсолютная гегемония какой-либо команды.

Суть футбола в стремлении к победе. Оно заложено и в букве и в духе этой игры. Мы, конечно, хотим, чтобы наши футболисты привозили награды, которые бы украшали Музей спорта в Лужниках. Но для этого надо иметь выдержку, уметь зорко видеть все трудности и препятствия и не успокаивать себя успехами трех лучших команд страны, а то и одной команды — сборной. Нет, наш футбол — это прежде всего тысячи рядовых команд, миллионы футболистов, из которых и должны выдвигаться новые Федотовы, Нетто и Воронины. И до тех пор, пока у нас не будет квалифицированного массового футбола, до тех пор, пока в рядовых командах, и прежде всего командах молодежных, не будут работать опытные тренеры, понимающие, что такое современная техника, и умеющие передавать свои знания ученикам, до тех пор мы будем не раз иметь поводы для огорчений. Я имею в виду огорчения не такого рода, как второе место в Кубке Европы. Тут все объяснимо, а такого, как, скажем, недавнее поражение от далеко не высококлассной сборной Австрии, как не имеющая оправданий олимпийская осечка.

Короче говоря, нашему футболу не хватает надежности. Надежности атаки в первую очередь, а за этим стоит вопрос о молодых резервах, а значит, и о массовости нашего футбола. Вот сейчас главная проблема. Ее и надо решать.

ЕЩЕ РАЗ О ДОЛГОЛЕТИИ



А. МОРАЛЕВИЧ

Каждый собирается жить долго. И человечество тоскует над меню: что заказать — овощное или животное? Что безвредно?.

Вдруг объявляется столетний человек. Он выступает по телевидению и говорит, будто прожил так долго лишь потому, что никогда не ел мяса.

И все перестают есть мясо. Общество со страшной силой ест морковь.

Но потом заявляет о себе еще один долгожитель. Ему 114 лет, у него 257 внуков, он решительно утверждает, будто прожил так долго лишь потому, что всегда ел мясо.

И вконец замороченное общество бросается есть мясо.

Однако это все ерунда. 114 — это не достижение. По стране ходит человеческое создание в возрасте 130 лет! Оно полно сил, доказательством служит тот факт, что у него тысячи двадцатилетних сыновей, не говоря уже о тридцатилетних. Не удалось установить, что кушает старец, как он относится к овощам и мясу. Но известно, что он делает. Он пишет рекламные тексты.

Чудесный долгожитель заявил о себе 130 лет назад. Это был текст:

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СИЛ МОРАЛЬНЫХ
И ФИЗИЧЕСКИХ СБЕРЕЧЬ,—
ПЕЙТЕ СОКОВ НАТУРАЛЬНЫХ,
УКРЕПЛЯЮТ ГРУДЬ И ПЛЕЧИ!

Одно время считали, что он умер. Однако руку знатного человека узнали в 1925 году в городе Одессе:

ПЕЙ КОНЬЯК «КОНКОРДИЯ»,
ИЛИ ДАМ ПО МОРДЕ Я!

Потом снова думали: умер. Война, то, се. Как вдруг покупатели Центрального универмага в городе Черкассах в августе этого года уперлись головами в фанерный стих:

СЕНТЯБРЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ,
ПРОХЛАДОЮ ДЫШИТ.
МОЙ ПАПА ЗАБЫВАЕТСЯ...
А ВРЕМЯ ВСЕ БЕЖИТ.
КУПИ, РОДНАЯ МАМОЧКА:
ЛИНЕЙКУ, ТРАСПОРТИР,
ПАЛОЧКИ-ЩИТАЛОЧКИ,
БУТЫЛОЧКУ ЧЕРНИЛ.
ПАЛЬТО ФАСОНА НОВОГО
И НОВЕНЬКИХ ТУФЛЕЙ.
Я БУДУ РАД ОБНОВОЮ,
КУПИТЕ МНЕ СКОРЕЙ!

Сомнений не оставалось: жив.

Это начинало злить. Но особенно раздражали стариковы дети. С кроличьим азартом они плодили рекламные шлягеры. Они наводняли ужасной продукцией города и даже полевые станы.

Сегодня на земле насчитывается 30 тысяч специальностей. Подрастая, стариковы дети торопливо дегустировали профессии. Почему-то им дружно не хотелось ехать полеводами в Забайкалье. Но молодой организм требовал калорий. И один за другим тупые, ленивые дети спускались в пещеры Госторгрекламы, где неизвестные герои проталкивали свой товар.

Отдел рекламы всегда помещается в полуподвале. Сжимая в левой руке стихи, а правой осязая в темноте лица конкурентов, младорекламцы проникают в коридор. Но это не главное.

Главное — пробиться в комнату. Сквозь мутное окно видны ноги прохожих. Вокруг длинного стола сидят отравленные папиросами люди. Почему-то стоит противопожарный ящик с песком, и в нем тоже сидят двое. Это художественный совет. А поскольку мест для авторов в комнате уже нет, они собираются под столом. И торги открываются.

Сразу разносится слух, что у бездетных поэмы не принимают, а только двустрочия.

— Сдаю! — разносится крик.— Вот:

ЗАБЛУДИШЬСЯ В ПЕЩЕРЕ,
ОТ СТРАХУ ОРЯ,
НЕ КУПИВ В МОСКУЛЬТТОРГЕ
КАРМАННОГО ФОНАРЯ!



Рисунки В. ЧЕРНИКОВА.

БЕЗОБИДНЫЙ вопрос

Ахим ФРЕЛИХ

Паровоз стоял под парами. На перроне вдоль вагонов цепочкой выстроились провожающие. Во всем чувствовалось, что миг отправления поезда приближается. В это время к дежурному по станции подошел мужчина и похлопал его по плечу.

— Извините, моя фамилия — Швафель,— коротко представился он.— Могу ли я спросить вас... Поезд отправится по расписанию?

— Да, как всегда, точно по расписанию. А почему у вас возник такой вопрос?

— Но все же может случиться...

— Да что вы! — удивленно вскинул на него глаза дежурный. — Что же может случиться?

— Может быть, в печке паровоза нет огня?

— Огонь, разумеется, в топке есть.

— А вы заглядывали туда?

— Нет, не заглядывал.

— Вот видите! — торжествовал Швафель.— Значит, все же поезд может задержаться.

— Ну, довольно! — прервал собеседника дежурный.— Поезд отправится точно по расписанию!

— Но послушайте,— не сдавался Швафель,— разве вы сейчас не сказали, что не заглядывали в печку, простите... в топку? Значит, вы не можете на сто процентов быть уверены, что поезд отправится точно по расписанию.

— За топкой следят машинист и кочегар!

— Но если они не заглянули туда?

— Нет, уважаемый гражданин, они заглянули! — почти выкрикнул дежурный.— Вон, посмотрите, из трубы паровоза валит дым. Значит, огонь в топке горит.

— Но, может быть, этот дым остался от вчерашнего дня,— наивно предположил Швафель.

— Не-е-ет!.. Это сегодняшний, гражданин!

— А не может ли что-нибудь другое помешать поезду отправиться вовремя?

На глазах у дежурного навернулись слезы, брови поползли вверх.

— Что другое, черт побери?!

— А вот, например, если огонь в печке, простите... в топке паровоза горит недостаточно хорошо. Что тогда? И у нас в доме печь иногда не горит, хоть лопни. И тогда мы вынуждены подливать бензин...

Дежурный по станции внезапно перебивает Швафеля и заикающимся голосом истерически кричит:

— Ради бога! Вот из-за ваших глупых расспросов мы опаздываем с отправлением поезда. Пять минут назад мне нужно было дать сигнал отправления.

— Вот видите. Я же еще в начале разговора вам сказал: что-нибудь может произойти...

С немецкого перевел В. Обухов.

— В кассу.
— Пустите! Да что же, право... У меня актуально!
— А что?
— Колхозность:

ШОФЕРЫ, К ВАМ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РЕЧЬ:
НАДО КОЛЕСА, КОЛЕСА
БЕРЕЧЬ!

— Подойдет? И еще вот плакат. Даже лозунг...

ЧТОБ ДОХОДЫ УМНОЖАТЬ,
НАДО ОЧЕНЬ УМНО ЖАТЬ.

— В кассу.

Коридор стонет от зависти. Но всех обставляет многодетный поэт с крокодиловой папкой. Он принес поэму о салаке. Это дивное сочинение. Вот корабль уходит в плавание. Жены, платочки, страховой агент. Море, дали, бури. Посреди океана сломался компас. Смятение, блуждание, голодание. Очень трудно. Кок исхитряется поймать рыбы. Кок в камбузе. Обед. На обед приготовлено из салаки 137 блюд, в том числе кофе с молоком и омлет натуральный. Ликование. Все на полубаке качают кока. Раз, два, три! Наконец его подбросили так высоко, что он сверху увидел землю. Покупайте салаку!

Но со стихами покончено. Текстовики разбегаются по другим полуподвалам, очищая место для мастеров кисти и яркого мазка. Известно, что к тексту полагается присобачить рисунок. Каким он должен быть?

Тут имеются два направления. Первое — примитивизм, некоторая детскость. Человек в виде палочек. Другое направление следует правилу: «Здорово, но непонятно». Чтобы стоял покупатель, задрав голову, и постигал смысл рекламы по принципу «от обратного». На что меньше всего похоже изображение? На швейную машинку? Значит, это реклама швейных машинок. Легко и просто.

Именно второе направление побеждает в наши дни. Главное — новация, смелость мазка. Недавно Москва была заклеена удивительными плакатами. Скорее всего это было похоже на цветной снимок возбудителей сенной лихорадки под микроскопом. Но при выяснении оказалось, что плакаты отнюдь не скликают всевропейский конгресс вирусологов, а приурочены к открытию форума молодежи. И что на плакатах изображена вовсе не культура бактерий, а рукопожатие. И все это многокрасочно, тысячным тиражом, типографским способом!

Бедные администраторы кочующих российских театров! Как было им трудно! Высунув от прилежания язык, театральный зазывала писал кистью афишку: «Только сегодня! В третьем акте актер Валдаев произнесет настоящее греческое слово «эврика» и сломает настоящий бильярдный кий!» Одинокую афишу клеили на углу обжорки Самсонова и К°. И набиралось три ряда в зале. Так заманивали зрителя. Жалкие люди!

Ныне плоскопечатные машины хлопают крыльями, и все трамваи города Хабаровска расцвечиваются афишами: «ЦИРК. ПРОЩ. ГАСТРОЛЬ. БРОНЗОВЫЕ ЛЮДИ ШВАРЦМАН И ВОРОПАЕВ!»

Вот как надо! А Северная Осетия пестрит громадными полотнами чемпиона-силача Ибрагимова Сулудина:

ТАНЦЫ, ДЕРЖА В РУКАХ ДВУХ
ЧЕЛОВЕК И НА ШЕЕ
ОДИН, В ЗУБАХ
ЧЕТЫРЕХПУДОВАЯ ГИРЯ.

Маяковский тоже писал рекламы. Он писал не для того, чтобы помочь негоцианту сбыть гнилой товар. Маяковский писал, чтобы информировать массы. Так сказать, что есть где. В «Окнах РОСТА» поэт воспитывал массы плакатами. Но Маяковский был приятным и последним исключением. После него великие и даже не очень великие гнушались петь о пробках.

И в прорыв устремилась золотая орда недохудожников и недопоэтов. Спросите: борется кто-нибудь с халтурой? Нет. Правда, в Днепропетровске, например, делаются кое-какие шаги. Есть постановление облисполкома. Каждая новая реклама должна получить визу главного художника города С. Е. Зубарева, специалиста с отличным вкусом. Значит, свежеиспеченная ересь не увидит света. Но кто будет бороться с тяжелым наследием прошлого?

В самом центре удивляющего чистотой города на красавце доме полыхает гигантская световая реклама в стиле рококо:

СОБИРАЙТЕ И СДАВАЙТЕ
МЕТАЛЛОЛОМ ВТОРМЕТУ!

Кто водрузил ее на десятый этаж? О чем он думал? По площади гуляют юноши и девушки. В организме каждого взрослого человека содержится 0,04 грамма чистого железа. Может быть, юноши, прочитав пламенные слова, схватят своих девушек и сдадут их Вторметy ради тех самых 0,04 грамма?

Кое-где начали улучшать рекламу. Хорошо идет дело в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Куртамыше, Елабуге, Северо-Курильске. Рекламные отделы извлекают из полуподвалов, получают отставку мастера мазка и осквернители слова.

Но когда речь заходит о темпах этих работ, хочется, чтобы она лучше не заходила. Делается тревожно: темпы маленькие. Между тем вчера к нам на шестой этаж взобрался старик. Он заверил, что ему 138 лет и он самый старый человек.

— Вы, конечно, не ели мяса? — спросили мы старика.
— Я ел мясо.
— Ага, вы не ели овощей!
— Я ел овощи.
— Но как же вам удалось столько прожить?
— Я никогда не читал рекламы,— открылся нам старик и ушел. Он поехал на стадион, а мы остались думать: что будет, если все последуют его примеру? Каждому хочется жить долго!

Максим ТАНК

БЫЛА КОГДА-ТО...

Была когда-то улица Заречная
С душистой тенью — с липами зелеными.
На ней, казалось, жил и жил бы вечно я
С друзьями и студентами влюбленными.

Но деятели административные
По-своему крестить ее стараются
(Мол, вот какие мы оперативные),
Хоть от названий их язык ломается.

Вдруг сделалась она Новобольничною,
А после стала улицей Белвузов,
Акакия Цитатополитичного,
А ныне — Облрембазы промсоюзов.

Кажись, все та же улица Заречная,
Но так перекрестили, что, признаться,
Сюда не пишут и друзья сердечные,
Влюбленные здесь не хотят встречаться...

Авторизованный перевод
с белорусского А. КОРЧАГИНА.





ПОЖАР ВО ДВОРЦЕ ФОЛЕНА

Акилле КАМПАНИЛЕ

Одно время я был редактором ежедневной газеты. Однажды ночью сообщают о пожаре. Я зову посыльного:
— Позовите ко мне пожарного репортера!
— Он уехал домой.
Раб своих часов, пожарный репортер, хоть мир провались, уезжал домой ровно в десять. Тем хуже для пожаров, которые возникали не по расписанию.
— Тогда,— сказал я,— позовите ко мне редактора отдела происшествий.
— Он болен.
— Но кто же в редакции в таком случае?
— Светский хроникер.
— Прекрасно, позовите его сюда.
Через минуту вошел светский хроникер, во фраке.
— Торопитесь,— сказал я ему.— Поезжайте и подготовьте отчет о пожаре во дворце Фолена.
— Но я светский хроникер.
— Никаких но. Мне больше некого послать.
— Но я не знаю даже, с чего начать.
— Опишите то, что увидите. Не слепой же вы.
— Но приглашение?!
— Какое приглашение?
— Приглашение присутствовать на пожаре...
— Для этого, черт побери, не требуется приглашения! Идите!
И светский хроникер исчез.
Вот отчет, который появился на следующий день:
«Ослепительный свет и яркие искры, неповторимое скопление полуобнаженных женщин — таково зрелище, которое светская жизнь предлагает порою монoклю пресыщенного хроникера. Вчера вечером в роскошных салонах дворца Фолена происходил грандиозный, незабываемый пожар с участием всех обитателей величественного здания. Мы могли видеть среди присутствующих пожарную команду в полном составе: графиню Фолена в очаровательных мужских туфлях и драпированную небольшим ковриком, который подчеркивал ее скульптурные формы; графа в плотно облегающих длинных кальсонах, изящно стянутых на лодыжках. Приводили в восхищение молодая графиня в изящной розовой пижаме и ее английская гувернантка в ночной рубашке. Кроме того, можно было заметить привратника дворца Фолена, окруженного семьей, а также швейцаров из соседних домов. Приносим свои извинения, что по недостатку места не можем перечислить все имена. Однако следует отметить множество декольте и изящных ночных туфель.
Пожар продолжался до рассвета в обстановке большого оживления. Только к утру пожарники и остальные гости удалились, унося с собой неизгладимое впечатление от прекрасного зрелища, которое, мы не сомневаемся в этом, традиционная любезность графа и графини Фолена позволит лицезреть еще не раз к великой радости всех друзей этого гостеприимного дома».

Перевел с итальянского
В. КОЗОВОЙ.



ИСКУССТВО ТУЛЬСКИХ КУЗНЕЦОВ

Перед вами шедевр искусной работы старых тульских кузнецов, относящийся к 1787 году. Этот туалетный столик выполнен целиком из стали и украшен изящной инкрустацией из червонного золота. К сожалению, имена создателей экспоната, являющегося музейной редкостью, неизвестны.

А. Кучумов



БЕЛЫЙ ЕЖ

Однажды вечером, когда я возвращался с охоты в Каракумах на свою базу, в кибитку заготовщика саксаула Хасана Назарова, меня встретила его дочь Айсолтан с белым ежом на руках. Раньше я никогда не встречал таких животных. Девочка взялась ухаживать за ним. А потом подарила ежа мне.

Возвратясь из Каракумов в Ленинград, я показал ежа зоологам. Ученые сказали, что Айсолтан нашла довольно редкий экземпляр длинноиглого ежа-альбиноса.

На снимке: Айсолтан со своими воспитанниками.

Н. Минкау



УКРАШЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Как показывают археологические раскопки, первобытные охотники, жившие на берегах Енисея 13 тысяч лет назад, любили украшать себя различными бусами и подвесками. На снимке: ожерелье из мелких галечек белого мраморовидного известняка с просверленными отверстиями.

З. Абрамова, археолог

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ

Английская фирма «Берн» начала продавать по два шиллинга за банку консервы с английским воздухом. Теперь наряду с такими консервами, как «Вода из Ла-Манша», «Лондонский туман», можно купить банки с воздухом Лондона, Девоншира, Корнуолла, Уэльса...

СЪЕЗД БРОДЯГ

В городе Бритте (штат Айова) состоялся съезд бродяг, на котором присутствовали 15 тысяч делегатов из всех мест США. Шефом бродяг избран 43-летний Бифштекс-Чарли с тридцатилетним бродяжническим стажем.

ДЛЯ ТАЙНЫХ УБИЙЦ

Одна западногерманская газета поместила такое объявление о предстоящей телевизионной передаче шекспировского «Ричарда III»: «Сегодня будет проводиться вечерний курс для тайных убийц».

БОРОДЫ В ЦЕЛЛОФАНЕ

Недавно в США праздновалось 250-летие основания города Албукерке. Многие его жители отпустили бороды, чтобы походить на тех, кто основал город. Местным властям пришлось издать такое постановление: «Все работники питания, чьи бороды длиннее двенадцати сантиметров, из соображений гигиены обязаны надевать на бороды целлофановые мешочки».

КОШКИ-МИЛЛИОНЕРЫ

Две кошки — Брауни и Хелкет — унаследовали 500 тысяч долларов. Эту огромную сумму оставил им доктор Вильям Грайер из Лос-Анжелоса, который в своем завещании просил приставить к наследницам специальную гувернантку.

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН

Шестидесятипятилетний Яни Думас из Бююкдере на Босфоре однажды в марте этого года, как всегда, поужинал, пожелал своей сестре спокойной ночи и лег спать. На следующий день он не проснулся. Проходили дни и недели, а Яни Думас не пробуждался. Его искусственно подкармливали, делали уколы витаминов.

Проснулся Яни Думас через шесть месяцев. Когда ему сказали, что уже наступила осень, он не поверил. И только взглянув в зеркало и увидев на своем лице бороду, старик все понял.

ТЕМЫ ПАРИКМАХЕРОВ

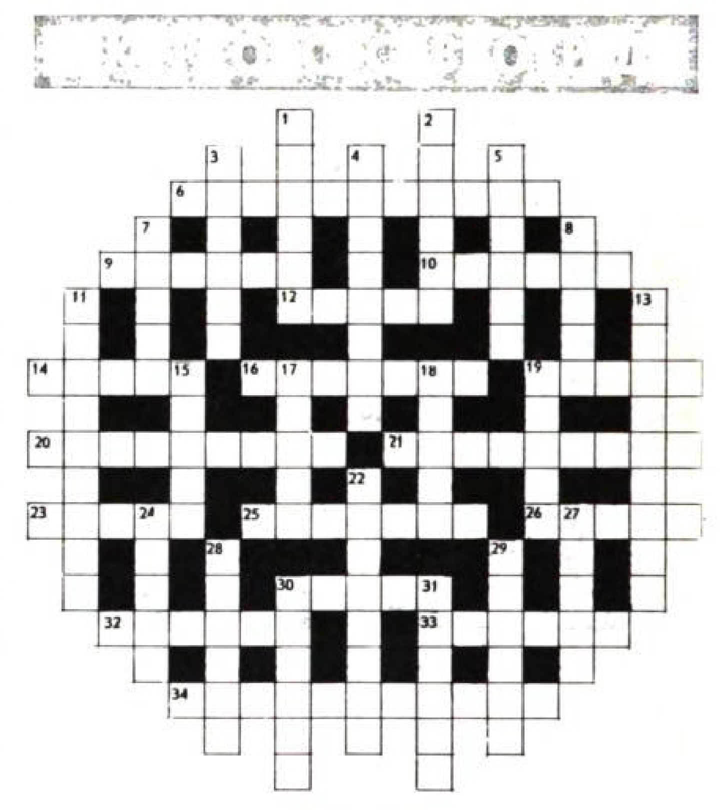
В одной парикмахерской на средиземноморском острове Мальорке можно увидеть следующее объявление: «Тема разговора: шеф — политика, первый помощник — погода и рыбная ловля, второй помощник — спорт».

На последней странице обложки: В Горьком возводится новый мост из сборного железобетона через реку Оку. Он вступит в строй в 1965 году и значительно упростит автомобильное движение между различными районами города.
Фото Н. Анимова (ТАСС).

Природа ф







По горизонтали:

6. Знаменитая женщина-математик. 9. Красная медная руда. 10. Народный поэт Белоруссии. 12. Курорт на побережье Черного моря. 14. Приток Оби. 16. Ожерелье. 19. Промысловая рыба семейства кефалей. 20. Работник учреждения связи. 21. Драгоценный камень. 23. Рассказ А. П. Чехова. 25. Этюд для пения. 26. Коралловый остров. 30. Бег по пересеченной местности. 32. Пятиглавая гора на Северном Кавказе. 33. Порода голубя. 34. Наука о языке.

По вертикали:

1. Музыкальный интервал. 2. Преграда из деревьев. 3. Шерстяная ткань с ворсом. 4. Коллекция растений. 5. Китобойный снаряд. 7. Спортивная обувь. 8. Возвышенная равнина. 11. Медицинский прибор. 13. Цветок. 15. Система чисел, принятых для измерения или оценки величины. 17. Мягкий металл. 18. Вид городского транспорта. 19. Вспомогательная теорема. 22. Советский авиаконструктор. 24. Планка для рам и карнизов. 27. Спутник планеты Сатурн. 28. Союзная республика. 29. Герой древнегреческой мифологии. 30. Дальневосточная лодка. 31. Часть генератора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 49

По горизонтали:

4. Воронеж. 7. Гидробиология. 8. Бандура. 14. Куприн. 15. Полюс. 17. Ректор. 18. Брусчатка. 19. Валиханов. 21. Шкипер. 23. Танго. 24. Аркада. 26. «Тачанка». 29. Марцинкявичюс. 31. Плантаж.

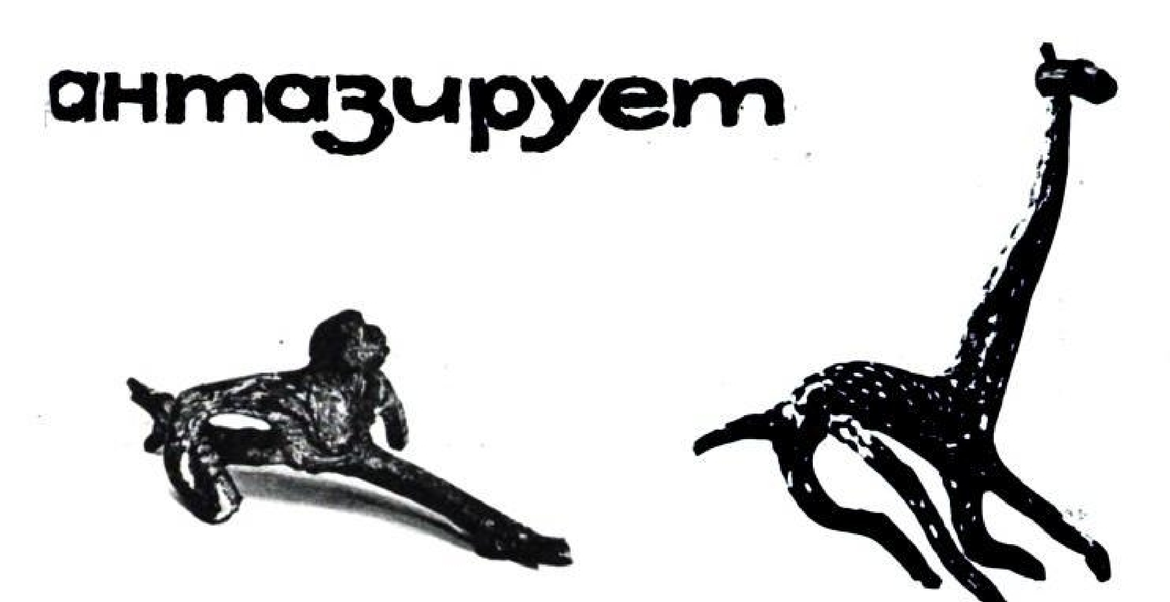
По вертикали:

1. Ворона. 2. Сочи. 3. Геллер. 5. Агадир. 6. Рябчик. 9. Дели. 10. Рубрика. 11. Ондатра. 12. Эрмитаж. 13. Борозда. 15. Пакет. 16. Стадо. 20. Унжа. 22. Пальма. 25. Карась. 27. Ариэль. 28. «Кавказ». 30. Кони.

Главный редактор А. В. СОФРОНОВ. Редакционная коллегия: М. Н. АЛЕКСЕЕВ (заместитель главного редактора), Г. А. БОРОВИК, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. Оформление И. МИХАЙЛИНА.

антазирует



Приглашаю вас в лес, дорогой читатель, на увлекательную охоту. Ружье нам не понадобится. Не нужны для наших целей ни капканы, ни ловчие сети, ни охотничий нож. Впрочем, нож прихватите. Не охотничий, а обыкновенный, складной. Совершенно необходимы при нашей охоте наблюдательность и немножко воображения.

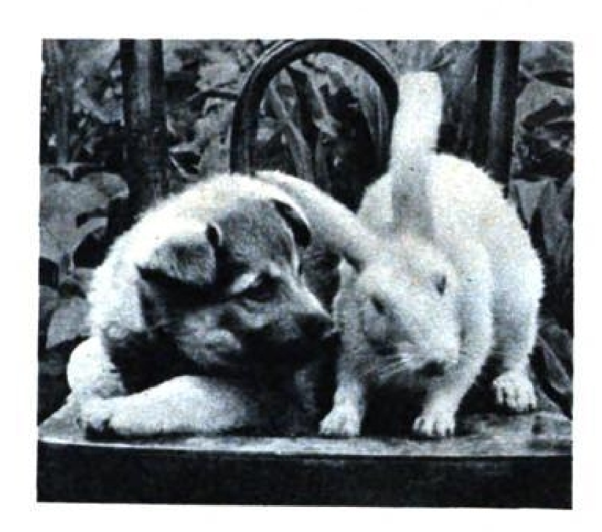
Природа часто создает настолько законченные произведения, что доработки почти не требуется. Но свои творения она старательно маскирует в хаосе сучьев и корней. Разгадывать эту загадочную картинку всегда необычайно интересно. Еще интереснее помогать природе досказать то, на что она только намекнула.

После пустяковой доделки березовый нарост может превратиться в могучего быка, изготовившегося к атаке. Теперь уж без тореадора никак не обойтись. Задача нелегкая: ведь надо выискать фигурку, как бы застывшую в стремительном, порывистом и красивом движении.

Бесконечно разнообразно творчество природы, неисчерпаема ее фантазия. Вот, держа на отлете увесистый камень, мчится за убегающей дичью наш предок питекантроп. А сколько леших, ведьм, сколько сказочных драконов поджидает вас в лесной глуши!

Подбирайте любой замысловатый корень. Чем трудней бывает расшифровать закодированную в нем скульптурку, тем неожиданней и радостней открытие. Многое будет зависеть от вашего воображения и изобретательности.

В. БАЛАШОВ





— Ты меня не бойся.

Фото И. Циклаури.
Тбилиси

Рисунки В. Черникова.





Без слов.





Верх натурализма.

БИЛЕТмейстер.





В семье циркача

— Сходил бы наконец в школу!
— Все руки не доходят.



Телефоны отделов редакции: Секретариат — Д 3-38-61. Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 00807. Подписано к печати 1/XII 1964 г. Формат бум. 70 × 108¹/₈. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л. Тираж 1 862 000. Изд. № 2076. Заказ № 3279.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

